

Михаил Ахманов

Массажист

Глава 1

Он стоял на самом краю бездны.

Внизу, прячась в предрассветном сумраке, топорщили голые ветви дерева, меж их стволами смутно просвечивал белым осевший мартовский снег, кое - где, на дорожках и на площадке с песочницей, виднелась земля — темная, голая, сырая. Ни движений, ни шорохов; только в дальнем конце переулка, у речки Карповки, погромыхивал первый трамвай, скрипел пронзительно колесами, лязгал на стыках рельсов. Но эти звуки были далекими и как бы нереальными, не нарушающими утреннюю тишину. Она висела над дремлющей Петроградской стороной, над крышей дома, утыканной антеннами, над улицами и дворами, и над небольшим парком, что протянулся до Малой Невки, к набережной, носившей странное название Песочная. Повсюду — тишина, безлюдье... Ни машин, ни торопливых прохожих, ни мамаш с колясками и детишками, ни псов с хозяевами на поводках. Псов и детей он не любил. Особенно псов — собаки питали к нему стойкую неприязнь и норовили укусить.

Бездна, раскрывшаяся у самых ног, ощутимо притягивала к себе. Если сомкнуть веки, казалось, что стоишь на горной вершине и внизу не жалкий сорокаметровый обрыв, а настоящая пропасть, падать в которую предстоит часами, днями, годами... Возможно, веками. Он бы хотел умереть такой смертью, падая в невесомости, в пустоте, и зная, что тело его будет странствовать в этих просторах от одного берега вечности до другого и никогда не сгниет, не подвергнется тлену и разложению, и не достанется на корм червям. К червям, а также к гусеницам, улиткам, змеям и ко всему, что ползает и извивается, он питал еще большую ненависть, чем к собакам. Впрочем, он вообще не любил животных, да и к людям относился без большой приязни. Но с людьми приходилось жить, говорить, вступать в контакты, охотиться на них и даже касаться ладонями их обнаженных дряблых тел, и потому он научился скрывать свое отвращение. Пожалуй, он не испытывал этого чувства лишь к молодым красивым девушкам, чья плоть была упругой, крепкой, а кожа пахла ароматом роз. Но девушек он к себе не водил.

Холодный мартовский ветер забрался под куртку, залез под свитер, заставив его вздрогнуть. Он ощутил озноб, попятился к чердачной двери, не спеша спустился в полутемное низкое помещение

чердака, к люку. Он очень берег свое здоровье; собственно, все, что он имел, заключалось в нем самом, в его сокровищах, в Охоте и небольших, от случая к случаю, развлечениях. Связи с другими людьми, как сами люди, ценности не представляли; ни люди, ни их надежды и желания, их ненависть и любовь, самоотверженность и честолюбие. Всего лишь груды жира и костей, обтянутые дряблой кожей, заросшие частично шерстью; парад мясных, слегка одушевленных туш. Будущий корм для червей.

Он протиснулся в люк, закрыл его, спрыгнул со ступеньки складной алюминиевой лесенки и резким движением послал ее вверх. В закуток, отгороженный от общей площадки последнего, двенадцатого этажа, выходили двери двух принадлежавших ему квартир: справа — старой, где он ел, спал, читал, работал и временами смотрел телевизор, слева — новой, где он жил. Ибо жизнь — истинная жизнь, которую ему хотелось бы вести — состояла в том, чтоб любоваться своими сокровищами, перебирать их, трогать, взвешивать в ладонях, нежно поглаживать и ласкать, наслаждаясь ни с чем не сравнимым ощущением обладания. Это чувство было близким к оргазму, но совершенно самодостаточным, не требующим участия других партнеров и даже отвергающим их со страхом; мысль, что кто-то увидит его богатства,

притронется к ним, казалась не просто пугающей, но кощунственной. Бог в его храме был один, и полагалось, чтобы ему служил только один жрец. Один - единственный.

Он распахнул правую дверь, постоял недолго у левой, ведущей в пещеру сокровищ, но не коснулся блестящей латунной ручки. Он редко заглядывал сюда по утрам; утро и весь последующий день подчинялись привычному распорядку, нудному и серому, будто ноябрьский ливень. Гимнастика, завтрак, работа, обед и снова работа, беготня по клиентам и пациентам; чьи - то шеи, спины, ляжки и задницы, выпирающие хребты, мышцы, сведенные вечной судорогой, и пораженные ревматизмом суставы... Не жизнь — существование, скрашенное лишь Охотой, поиском того, чем он способен завладеть...

Но вечер принадлежал ему. Только ему! Вечером он мог работать в своей крохотной мастерской или бродить по улицам, по кабакам и магазинам, мог перемениться, принять, подобно оборотню, любую из своих личин — тоскующего от безделья нувориша, миллионера - сноба, скупающего антиквариат, или фата, ценителя девичьих прелестей, а если угодно — бандита из самых крутых; он был силен, жесток и многое знал о хрупком несовершенстве человеческого тела. Но

чаще метаморфоза совершалась здесь. Здесь, у храмовых врат, перед входом в пещеру сокровищ, в его убежище, его дворец, защищенный бетонными стенами, решетками и бронированной дверью. Здесь он становился самим собой, Гаруном ар - Рашидом, сказочным калифом, который надумал посетить свою сокровищницу, и это было самое любимое, самое приятное из всех возможных превращений.

Сегодня, сказал он себе. Сегодня вечером. Или, быть может, завтра. Но не раньше, чем будет куплена та ваза. Та ваза, для которой приготовлено то место — на филигранном, французской работы поставце, под пейзажем Франческо Гварди — вид на Венецию в полдень с моря... Справа от двух старинных клинков, слева от настенных майсенских тарелок... Там она будет смотреться лучше всего. Сабли в серебристых ножнах, голубовато - зеленый клыкастый дракон и лазуритовый оттенок венецианской лагуны...

Кивнув, он перешагнул через порог.

* * *

К работе полагалось приступить в девять тридцать.

Ровно в девять массивные двери центра с протяжным скрипом закрылись за ним. Тридцать

минут уходило на то, чтобы раздеться, принять душ (обязательная процедура для всех без исключения сотрудников), облачиться в белоснежную униформу и подготовить кабинет: махровую простыню — на стол, флакончики с маслом и баночки с мазями — на подоконник, ширму — к кожаному диванчику. Еще проветрить и включить магнитофон с бодрящей, но неназойливой музыкой. Музыка тоже относилась к числу обязательных процедур; за этим, с чисто немецкой пунктуальностью, следил Макс Арнольдович Лоер, заместитель директора.

— Баглай! — окликнули сзади, когда он поднимался по лестнице.

Худой длинноногий Жора Римм спешил, перепрыгивая через две ступеньки; волосы собраны в пучок, плащ болтается словно на вешалке, глаза за стеклами очков кажутся неестественно огромными. Его настоящая фамилия была Рюмин, но как всякий уважающий себя экстрасенс он предпочитал работать под звучным псевдонимом. Это придавало ему ореол загадочности, столь необходимый в ремесле целителя-ясновидца.

— Сегодня твоя аура угольно-черная, — сообщил Римм, подрагивая ноздрями. — Вчера была темно-фиолетовая, а позавчера — грязно-коричневая. Плохи твои дела, Баглай! Все верхние

чакры засорены, связь с космосом прервалась, а в свадхистане¹ такое творится... Ладно, не буду тебя расстраивать. Только предупрежу: гляди, не изнасилуй под вечер одну из своих старушек.

— Старушки были б не против, — буркнул Баглай.

— Верю, верю. Однако Мосол не одобрит. Вот если по специальному тарифу... оформить, как эротический массаж...

То был дежурный обмен шуточками. Подобная вольность допускалась с Риммом и еще кое с кем из сослуживцев, с одним - двумя, не больше. С остальными Баглай не расслаблялся и был, как правило, корректен и сух. Особенно с Викой Лесневской, стройной блондинкой из отделения физиотерапии; чувствовал, что та положила на него глаз. Он не отказался бы с ней переспать — при несомненном опыте, Вика еще не потеряла девичьей свежести — но ходил слушок, что ею интересуется сам директор.

На площадке второго этажа маялся рослый охранник из агенства «Скиф», ждал, когда вверх по лестнице запрыгают девушки из отделения косметической хирургии и можно будет

¹ Свадхистана — одна из семи чакр; расположена в области лобка и отвечает за накопление сексуальной энергии.

полюбоваться стройными ножками и соблазнительными бедрами. В длинном широком коридоре, пронизывающем здание насквозь, было еще пусто, ни посетителей, ни врачей, лишь санитарка из физиотерапии усердно протирала шваброй пол. Баглай щелкнул замком, переступил порог своего кабинета, быстро разделся, принял душ в стеклянной кабинке, втиснутой в нишу рядом с умывальником, натянул белый накрахмаленный комбинезон, бросил на массажный стол простыню, расставил на подоконнике флаконы и приоткрыл форточку.

За окном уже раздавались привычные звуки, шелест шин по асфальту, мягкий рокот троллейбусов, голоса прохожих; пропуская сотрудников, хлопала и скрипела входная дверь. Оздоровительный центр «Диана» занимал здание бывшей поликлиники на Большом проспекте Петроградской стороны; половина окон выходила на улицу, а другая половина — во двор, к автостоянке и входу в полуподвальное хранилище. Этот склад предназначался для дорогих лекарств и медицинской техники, а потому его снабдили железной дверью, прочной, как танковая броня. Дверь неплохо гармонировала с домом — старинным, капитальным, постройки самодержавных времен, но тщательно ухоженным и перепланированным. Внизу, в свободной части

полуподвала, размещался бассейн, а при нем — сауна, целебные ванны и бодрящие души; на первом этаже — касса, регистратура, вестибюль и гардероб для посетителей, а также залы обычной и атлетической гимнастики, с современными тренажерами и спортивными снарядами, с сеткой батуда и зеркалами во всю стену; на втором — аптека, процедурная, массажное отделение и кабинеты врачей, гомеопатов, мануологов и физиотерапевтов; все — оснащенное по высшей категории, с лучшим оборудованием, какое только удалось достать за деньги. Третий этаж был исключительно женским, благоухающим французскими духами, полным шелеста легких одежд, стука каблучков и доверительных негромких разговоров; тут находились косметический салон и комплекс косметической хирургии. Виктор Петрович Мосолов, директор заведения и его хозяин по кличке Мосол, сидел, вместе с заместителем и бухгалтерией, на четвертом этаже, рядом с ординаторской и комнатой отдыха охраны. На пятом и последнем располагался солярий — царство хрустальных окон, кварцевых ламп, озонаторов и шезлонгов под приземистыми пальмами и фикусами с полированной изумрудной листвой.

Тут делали все, от исправления формы ушей и носов до исцелений сколиозов и радикулитов.

Эстетическая медицина, коррекция фигуры, пересадка волос, борьба с ожирением, а также с морщинами — с помощью лазерной шлифовки, армирование золотыми нитями... Имелся даже кабинет психологической поддержки — в нем принимал Георгий Римм, снимавший сглазы и порчу, штопавший пробои в энергетике и избавлявший пациентов от мороков и стрессов. Центр был заведением элитным, дорогим, с великолепными специалистами; любая услуга стоила здесь не меньше, чем половина пенсии какого-нибудь инженера или учителя. Но бывшие учителя и инженеры тут, разумеется, не лечились, предпочитая жить с теми носами, какие им дарованы природой, а с радикулитами и сколиозами тащились в бесплатные поликлиники.

Однако город был велик, и состоятельных людей, потенциальных пациентов, вполне хватало. С массой недугов, существовавших в реальности или придуманных с начала и до конца, и с массой требований и пожеланий. Иным хотелось купить красоту, иным — здоровье, кому-то — чакры накачать, кому-то — мускулы; а попадались и такие, что посещали «Диану» исключительно для развлечения или повинуюсь рекламе и моде. Баглай смотрел на них как на законную дичь; все они были людьми не бедными, и каждый представлял интерес

— если не сам по себе, как объект Охоты, то уж, несомненно, как источник полезных сведений.

В дверь постучали, и он отошел от окна. Прибыл рассыльный со списком сегодняшних пациентов: восемь человек, полная нагрузка, с пометкой внизу листа, что очереди ждут еще двадцать или тридцать желающих. Ни один другой массажист из коллег Баглая по «Диане» не мог похвастать такой популярностью, но он лишь брезгливо сморщился, облизнул губы и, прикалывая список к дверям, провел под носом указательным пальцем. Он знал себе цену; он был специалистом высшей категории и занимался самыми сложными случаями — богатыми старухами и стариками. В основном, старухами; их приходилось по трое-четверо на каждого старца, который ухитрялся дожить до семидесяти.

За редким исключением в «Диане» практиковалась полная свобода выбора: клиент мог лечиться у тех или иных специалистов, заниматься у тех или иных тренеров, выбирать по собственной воле врачей, косметологов, массажистов, гомеопатов. Этот обычай был мудр, поскольку рейтинг специалиста определялся спросом, а от спроса — то есть от выручки — зависел его тариф и, следовательно, зарплата. Тариф Баглая был высок, однако же к нему не только шли, но еще и стояли в очереди по два - три месяца, ждали,

старались залучить домой, что, в общем - то, не возбранялось; Мосол понимал, что частная практика для массажиста — что мед для пчелы. К тому же спрос на Баглая отличался редкой стабильностью и не зависел ни от погоды, ни от моды — быть может потому, что старики консервативны и знают, что лучшее — враг хорошего, а самое хорошее то, что привычно.

Баглай закрыл форточку, включил магнитофон и принялся разминать пальцы, шевеля ими в такт нежной мелодии Моцарта. Директор Виктор Петрович музыкальных новаций не одобрял, являлся поклонником классики и полагал, что Моцарт особо целителен для больных позвонков и конечностей, скрюченные от подагры. А вот атлетические игрища на тренажерах сопровождалось Бахом, Вагнером и Богатырской симфонией Бородина; эти записи Мосол выдавал тренерам каждый месяц, меняя их по какой - то загадочной непостижимой методе.

В дверь опять постучали, и в кабинет просунулось свежее личико Вики Лесневской. Халатик на ней был на две ладони выше колена и не застегнут на верхнюю пуговку; что - что, а показать себя она умела.

— Баглай?

— Здесь, — отозвался он, не повернув головы.

Все его звали Баглаем, только Баглаем; никогда — по имени, и лишь в очень редких случаях, самые старые и вежливые из пациентов — по имени - отчеству. Но отчества он не любил. Всякий раз вспоминалось, что Олегович он по матери Ольге, а про отца известно лишь одно: не негр, не китаец, не индеец. Возможно, светловолосый немец или швед — из тех, что съехались в пятьдесят седьмом году на Фестиваль. Фестиваль закончился, и родились в Москве дети многих народов, а среди них — Баглай; и хорошо еще, что с белой кожей и нормальным носом.

— Баглайчик, — прощebetала Вика, — болит у меня, так болит! Вот здесь! — Повернувшись, она хлопнула по упругим рельефным ягодицам.

— Вчера началось, после шейпинга... что-то не так крутанула... или не так потянула... Пришла домой, всю ночь промаялась... Исцелишь?

— Уткин пусть исцеляет, — Баглай ткнул пальцем в стену, за которой находился соседний кабинет. — Уткин любит девушек помять. Риска никакого, плюс удовольствие.

Вика капризно надула губки.

— Ему — удовольствие, а мне?.. Мне разве ничего не полагается? Ну - у, Баглайчик, миленький... — Она уже просочилась в комнату и стала неторопливо растегивать халатик. — Клади

меня на стол, помажь маслом, пройдишь по спинке, и еще — тут и тут... вот по этим суставчикам... по тазобедренным...

— Я пройду, — сказал Баглай, вытягивая ремень из брюк и складывая его вдвое. — И по тазобедренным, и над ними. Неделю на присядешь!

Он размахнулся, и Вика со смехом отскочила, распахнув на мгновение халат. Под ним были длинные стройные ножки в полупрозрачных колготках, затем — нагая розовая плоть и что-то узенькое, кружевное, тонкое — такое тонкое, что мнилось, будто острия сосков проткнули кисейный полог ткани.

Баглай невольно вздрогнул, а Вика выскользнула в коридор, проворковав на прощанье:

— Смотри, Баглайчик!.. В другой раз и правда к Уткину пойду!

Вика удалилась к отделению физиотерапии, изящно покачивая бедрами, и было ясно, что ничего она не крутанула, не потянула, а ночью маялась совсем по другой причине. Баглай чертыхнулся, закрыл дверь и, чтоб успокоиться, сделал несколько дыхательных упражнений, попутно разглядывая список с восемью фамилиями. Все — женские, и можно было держать пари, что самой юной клиентке стукнуло семьдесят.

Чтоб окончательно прийти в себя, он начал вычислять, сколько таких стариков и старух залезут

к нему на стол, чтобы хватило на ту китайскую вазу эпохи Мин, нефритовую, голубовато - зеленую, с резным клыкастым драконом, то ли парившим в поднебесьи, то ли купавшимся в лазурных океанских водах. Получалось, что двести — это в случае частных сеансов; а если работать через «Диану», так все пятьсот. Он представил себе эту грудку мяса, этих склеротиков и гипертоников, сердечников и подагриков, сплюнул в раковину, сморщился, зло скривил губы и забормотал:

— Затылочную ямку, суставы шеи, а также ладони и пятки растирать жиром до сухости и вытереть мукой — так изгоняют ветер сердца и демонов сердцебиения. Чтоб подавить бессонницу и слабость в теле, в эти же места втирать растительное масло, а при бессоннице еще втирать в голову мускус с топленным молоком. При безумии и припадках втирать масло, которое пролежало год. При недержании семени растирать поясницу и копчик, используя жир выдры или ящерицы да - бийд. При ряби в глазах втирать жир грифа и...

Это были рекомендации из древнего канона «Чжуд - ши» — тайного восьмичленного учения тибетской медицины, которое он проштудировал в ашраме, у Номгона Дагановича Тагарова. Тагаров обучил его многому, а главное — технике шу - и, способной стимулировать или ослаблять кровотоки;

но ведал ли он, как эти знания сработают на практике?

Баглай усмехнулся, не прерывая заунывного речитатива. Странные слова, что были нанизаны в столь же странные, непривычные фразы, успокаивали не хуже дыхательных упражнений. Постепенно лицо его разгладилось, дыхание стало мерным и ровным, серые глаза посветлели, и яростная ухмылка уже не кривила губ; он был готов к работе. Стрелки часов над массажным столом показывали девять тридцать, когда он распахнул дверь, посмотрел на сидевшую в кресле старую женщину и негромко сказал:

— Прошу!

Она вошла, поздоровалась и протянула процедурный лист. Ей было семьдесят три; два счастливо закончившихся инфаркта, язва двенадцатиперстной кишки, диабет — в легкой форме, боли в суставах и искривление позвоночника.

— Первый раз у меня? — спросил он, когда женщина, раздевшись за ширмой, улеглась на стол.

— Первый, доктор... Простите, не знаю вашего имени - отчества, в регистратуре у вас только фамилии написаны...

— Так меня и зовите — доктор Баглай.

Строго говоря, он был не доктором, а только массажистом, но знал о человеческом теле

побольше иных докторов. Когда - то, лет пятнадцать назад, отсутствие диплома вызывало у него приступы ипохондрии, но теперь он знал, что главное — не числиться, а уметь. Он умел. И, к тому же, был свободен от клятвы Гиппократата.

Его длинные гибкие пальцы пробежали вдоль позвоночника, дрогнули, остановились, замерли. Сколиоз... Вылечить нельзя, но облегчить боль можно. Как говорил Марциал, искусство великое — растирать тело умелыми руками, освежая тем самым все его члены и утоляя страдания... Но за искусство, тем паче — великое, нужно платить. Хорошо платить!

— У вас боли здесь и здесь? — Он осторожно коснулся поясничных областей.

— Да... да, доктор... Сильные, особенно по вечерам... Спать не могу... стою всю ночь на коленках... ни на бок не лечь, ни на спину, ни...

— Это мы поправим.

Пальцы — все так же осторожно, мягко — надавливали там и тут, в ключичных ямках, под затылком, у основания шеи, вокруг лопаток, у плечевых суставов. Глаза не принимали участия в этой деликатной процедуре; глаза, в общем - то, были не нужны, как слишком грубый и несовершенный инструмент сравнительно с чуткими подушечками пальцев.

— Это мы поправим, — повторил он, капая в

ладонь маслом. — Обязательно поправим. Но дважды в год вам надо приходиться ко мне. Дважды в год — десять сорокаминутных сеансов... А это недешево стоит.

Женщина повернула голову, и он увидел ее глаза — блеклые серые радужинки и старческие белки в алой сеточке капилляров.

— Сын обещал, что будет платить... У меня хороший сын, доктор. Экономист, менеджер... И невестка тоже хорошая. Они мне говорят — сколько можно мучиться, мама?... деньги — это ведь только деньги... они должны радость приносить... и хотя бы чуточку здоровья... Потом звонить начали, по родственникам, по знакомым и друзьям... И кто-то рассказал о вашей «Диане»... дескать, есть там чудодей, который лечит стариков... маг с волшебными руками... так и сказали, с волшебными... про вас сказали, доктор... Правду?

В ее голосе звучали мольба и надежда, но лицо Баглая не дрогнуло. Он неторопливо растер масло между лопаток пациентки, плеснул еще и спокойным голосом произнес:

— Раз сказали, значит, правда. А там поглядим... там посмотрим... — Плавными легкими движениями он начал втирать масло в кожу. — Кстати, как вас зовут?

— Ирина Васильевна... Я, доктор, тридцать

лет на ткацкой фабрике отработала. Сначала — у станка, потом, после техникума — мастером смены. У станка тяжело, да и мастером не подарок... Все время на ногах, бегаешь туда - сюда, кричишь, ругаешься, нервничаешь... Зато сына подняла. Считай, в одиночку... Хороший у меня сын!

— Не напрягайтесь, Ирина Васильевна... вот так, хорошо...

— Его пальцы начали массировать основание шеи, затем спустились ниже, разминая комки затвердевших мышц. — Вы говорили, сын у вас менеджер? А где он служит? В какой -нибудь финансовой компании?

— Нет, в «Дельте телеком». Он...

Начинался разговор — неторопливый, обстоятельный и доверительный. Первый этап Охоты, который мог закончиться ничем или иметь любое, самое невероятное продолжение. Время покажет.

Люди бывают так откровенны... Особенно с парикмахерами и массажистами...

Глава 2

Подполковник Глухов опаздывать не любил, а потому на всякую встречу или иное мероприятие, как приватное, так и официальное, являлся загодя,

минут за пять, а то и за десять. Эта привычка вполне гармонировала с другими его чертами, врожденными или возникшими за тридцать без малого лет милицейской службы. Если бы Юлиан Семенов² когда-нибудь познакомился с Глуховым и пожелал — из писательского каприза или по иной необходимости — дать ему характеристику, то звучала бы она примерно так:

«Глухов Ян Глебович, пятидесяти трех лет от роду, подполковник МВД, бывший руководитель элитного подразделения «Прим»³ Петербургского уголовного розыска. Истинный славянин, преданный идее Вселенской Справедливости. Характер — нордический, твердый. С друзьями — ровен и коммуникабелен, беспощаден к нарушителям общественного порядка. Состояние здоровья — удовлетворительное, к службе годен. Вдов и бездетен; связей, порочащих его, не имел.

² Имеется в виду автор «Семнадцати мгновений весны» (примечание автора).

³ «Прим» — условное наименование, своего рода псевдоним; в целях сохранения секретности истинное название не раскрывается, но такие подразделения действительно существуют в структуре Московского и Петербургского УГРО (примечание автора).

Зарекомендовал себя незаменимым мастером своего дела. Тонкий психолог; обладает редким аналитическим умом, а также большим опытом оперативной и следственной работы. Особенно отмечаются такие качества, как обязательность и точность.»

В силу указанных выше качеств Глухов прибыл в РУВД Северного района в 17.52, а в 17.55 уже стоял у дверей полковника Станислава Кулагина, с которым они договорились встретиться точно в восемнадцать - ноль - ноль. Предметом встречи был юбилей Мартьянова, их приятеля и однокашника по ВМШ⁴; иными словами, застолье и разговоры до первых петухов.

Мартьянов Андрей Аркадьевич, в отличие от Глухова с Кулагиным, давно в милиции не служил, расставшись с погонами и серым кителем при первом подходящем случае. Он выбился в бизнесмены; владел магазинами и ларьками, не очень жульничал, успешно и с размахом торговал, а кроме того, используя прежние связи и свой немалый милицейский опыт, обзавелся «чоповской»⁵ лицензией и теперь мог сам себя

⁴ ВМШ — Высшая школа милиции (примечание автора).

⁵ ЧОП — частное охранное предприятие (примечание автора).

поберечь, и желающих взять под защиту, и бывшим коллегам дать подработать при случае. Его охранное агенство называлось «Скиф» и занимало уютный особнячок на Васильевском острове. Сам же Мартьянов выстроил домик в Парголово и обретался там с очередной супругой, то ли четвертой, то ли пятой по счету.

Дружбе эти обстоятельства не мешали. Глухов даже считал, что иметь приятеля - бизнесмена почетно и полезно по нынешним суровым временам — не из меркантильных соображений, а потому, что друг Андрюша мог свести его с разнообразными людьми, и, в частности, с такими, какие не слишком жалуют милицейских подполковников. Отсюда проистекала польза для службы, а службу Глухов оставлять пока не помышлял. Как и Кулагин, дослужившийся до начальника Северного РУВД, чья власть и ответственность простирались от Пискаревки и до самых Коломяг.

Стоя у кабинета приятеля, нагруженный сумкой с книгами, Глухов смотрел на часы и размышлял, стучать или не стучать. Секретарша куда - то исчезла, приемная пустовала, и справиться, занят ли Стас Егорыч, было абсолютно не у кого. Стрелки часов показывали 17.57, можно

было б и постучаться, так как три минуты — не время; с другой стороны, уговорились встретиться ровно в шесть — значит, и стучаться надо в шесть, ни одной секундой раньше. Глухов совсем уж решил не стучать и подождать, но тут дверь бесшумно распахнулась, едва не задев его по носу, и в приемную выскочила женщина — еще молодая, худощавая, черноволосая, и очень возбужденная. На щеках ее алели пятна, прическа растрепалась, а плотно сжатый рот свидетельствовал о решимости погибнуть, но добиться своего. Глухов, прижимая тяжелую сумку к бедру, с полупоклоном отступил, освобождая путь, женщина метеором пронеслась по комнате и скрылась; только дробный топот каблучков донесся с лестницы. А из кабинета слышался тягостный вздох. Вздыхал, несомненно, Кулагин.

— Стас Егорыч, ты еще живой? — спросил Глухов, не переступая порога. — Не принести ли водички?

— У Мартьяныча выпью. Даже напьюсь, — сообщил Кулагин, оседая в кресле. Потом вытащил платок и сигареты, вытер вспотевшую лысину, чиркнул зажигалкой, прикурил и с чувством произнес: — Ведьма... вот ведьмочка, так ее перетак... все нервы вымотала! Вот ты, Ян, большого ума мужчина, криминалист и аналитик... можно сказать, питерский Шерлок Холмс... вот

объясни мне: отчего бабы у нас или больные, или склочные, или жадные? Этой вот наследство обломилось — квартира, вещи там, тряпки, деньги, и все задаром, по завещанию и счастливому совпадению планет... Живи и радуйся... Ан недовольна! Все одно — недовольна! И ходит, бродит, канючит, скандалит... Всех моих замов припекла, теперь ко мне заявила! Вот наказание божье!

Глухов сел на стул, разогнал рукой табачные облака — сам он редко курил, но другим курить не мешал — и поинтересовался:

— А в чем, собственно, вопрос? Вроде бы наследства не по нашей части, если не торопят завещателя... Или поторопили?..

— Никто никого не торопил. Завещатель помер честной смертью, в собственной постели, от внезапного инсульта... нам бы так... — со вздохом произнес Кулагин, вытер платком лицо и подвинул приятелю тонкую папку. — Вот, взгляни. Может, чего и присоветуешь.

Брови Глухова озабоченно приподнялись, лоб пошел морщинами. Лоб — высокий, выпуклый, с чуть заметными впадинками на висках — являлся самой примечательной деталью его физиономии. Все остальное было вполне ординарным: круглое лицо, пухловатые бледные губы, небольшие глаза цвета холодных питерских небес, нос, от крыльев

которого к краешкам губ тянулись полукружия глубоких складок. Фигура, невысокая, полноватая и коренастая, подходила к этому лицу как прочный, но незатейливый клинок — к надежной, обтянутой шероховатой кожей рукояти. В общем и целом Глухов был доволен своей внешностью, и сейчас, и в молодые годы; он совсем не удивлялся, что Вера, покойная жена, красавица и умница, выбрала его из многих иных поклонников и претендентов. Это казалось ему вполне естественным — тем более, что выбор совершился лет пятьдесят назад. Неестественным и мучительно несправедливым было другое — ее смерть.

Он покосился на папку, затем — на часы, потер лоб и произнес:

— К Андрюше не опоздаем? На семь тридцать приглашал...

— Не опоздаем. Машина у крылечка стоит, ехать — двадцать минут. Мы ведь на окраине, Ян Глебыч, не у тебя на Литейном! Успеется... Ты давай пока что почитай да посмотри... там всего-то пяток бумажек... ну, может, не пяток, а десять или двенадцать... А я отдышусь, покурю и на твой шедевр полюбуюсь. Очень, знаешь ли, успокаивает.

Шедевр, один из глуховских морских пейзажей, красовался напротив окна. Писан он был давно, в семьдесят девятом, когда Глухов с Верой отдыхали в Симеизе, а Кулагину подарен в

позапрошлом году, по случаю переселения в начальственный кабинет. Большая картина, метр на метр сорок, и не хуже, чем у Айвазовского: морская ширь от горизонта до горизонта, белые барашки пены и окрыленный парусами бриг под ясным небом.

Картина напомнила Глухову о Вере, и в сердце стрельнула привычная боль. Он вздохнул и потянулся к папке.

Там был стандартный набор документов: копия свидетельства о смерти гражданки Нины Артемьевны Макштас, патологоанатомическое заключение, протокол опроса соседей, шесть докладных капитана Суладзе (он, вероятно, расследовал дело), а также заявление и жалобы Орловой Е.И. — судя по всему, наследницы и безутешной родственницы. К заявлению была пришпилена розовая бумажка с какими-то арифметическими выкладками, похожими на список доходов и расходов.

Читал Глухов быстро — сказывались привычка и дар художника, пусть не профессионала, однако личности с острым взглядом и чутьем, способной выделить основное на фоне мелких и незначительных подробностей. Основные же факты сводились к следующему.

Нина Артемьевна Макштас, бездетная вдова генерал-лейтенанта Макштаса, скончалась в

возрасте семидесяти шести лет в своей квартире, очевидно — во сне, ночью с третьего на четвертое февраля. Причиной смерти был инсульт — мозговое кровоизлияние, внезапное и обширное, так что, по заключению медэксперта, смерть произошла за считанные секунды. Труп пролежал четыре дня и был обнаружен гражданкой Орловой, наследницей умершей. Орлова, обеспокоенная тем, что Нина Артемьевна не отвечает на телефонные звонки, приехала, вошла в квартиру (ключи и доверенность у нее имелись), увидела труп и позвонила в ближайшее отделение милиции. Потом, как полагается в случаях внезапной смерти, были проведены вскрытие и расследование, установившие, что криминалом в данном случае не пахнет, и что генеральша скончалась в силу естественных причин — тем более, что кровеносные сосуды у нее, как у всех пожилых людей, оказались слабыми, а также присутствовал букет всевозможных болезней, от тахикардии и гипертонии до артрита.

На том бы и делу конец, однако через пару дней наследница обратилась с заявлением, что из квартиры похищена крупная сумма в валюте, предположительно — восемь-десять тысяч долларов. Расчеты на розовой бумажке как раз и уточняли размер похищенного. Из них вытекало, что покойница — женщина предусмотрительная,

обменявшая три года тому назад генеральскую квартиру на Суворовском на более скромную, в районе Гражданки. При этом она получила двадцать две тысячи долларов доплаты, каковые средства, вместе с пенсией, должны были обеспечить ей счастливую и беззаботную старость. Тысячу она подарила Орловой, заплатила налог (но не с двадцати двух, а только с шести тысяч, поименованных в официальных документах), и за три последующих года потратила, по мнению наследницы, не более четырех, расходуя деньги лишь на лекарства и питание. Значит, остаться должно тысяч семнадцать, а в наличии — семь! Тяжелый удар для наследницы; и эту тяжесть ей захотелось взвалить на плечи и спины компетентных органов.

Дочитав заявление потерпевшей, Глухов отложил ее жалобы на невнимание и медленное производство дела и обратился к рапортам Суладзе. Капитан, видимо, действовал с похвальной классической строгостью, в точности так, как предписано учебником криминалистики. Он произвел детальный обыск со снятием отпечатков пальцев и выяснил, что чужие в квартире не шарили, а все отпечатки принадлежат генеральше. Ее драгоценности и мужние дорогие ордена были не тронуты, шуба висела на месте, и даже деньги, около тысячи рублей, остались в целости и

сохранности. Он снял замки и произвел экспертизу — ни царапин, ни иных следов насильственного взлома на них не обнаружилось. Он опросил ближайших соседей; все в один голос утверждали, что генеральша была женщиной замкнутой, высокомерной, дружбы ни с кем не водила, к себе никого не пускала и даже подруг, что удивительно, не имела. Может, кто и ходил к ней, да им, соседям, неизвестно — тем более, что лестничные клетки темные, своей руки не разглядишь. Никаких подозрительных звуков соседи тоже не уловили — ни скрипа, ни лязга, ни шорохов, ни стонов. Затем Суладзе вызвал на допрос предпринимателя Миронова, проживавшего ныне в генеральских апартаментах; тот утверждал, что знать не знает про двадцать две тысячи долларов, и что доплата составляла шесть — как и указано в нотариальных документах. Этот Миронов был, вероятно, крепким орешком, и капитан убедился, что ничего ему тут не обломится; а, убедившись, взялся за потерпевшую.

Елена Орлова, библиотекарь Публички, замужняя, мать двоих детей, не состояла в родственной связи с Ниной Артемьевной Макштас, а была дочерью ее близкой подруги-москвички, ныне уже покойной. Сама Нина Артемьевна также родилась в Москве, познакомилась там с молодым офицером, ездила с ним по гарнизонам и

заграницам; детей Бог не дал, зато добра — в достатке, поскольку карьера мужа была на редкость успешной. Когда он выбился в генералы и получил назначение в Ленинград, в Высшее командное училище, супруги, предчувствуя старость, прочно осели во второй из российских столиц. Вскоре здесь появилась Орлова — встретила парня-ленинградца, влюбилась и переехала к нему, на новое место жительства. По ее словам, Ленинград Нине Артемьевне не нравился, ни климатом своим, ни мрачным каменным обличем, и после смерти мужа было ей тут одиноко и холодно. Единственный близкий человек — Елена, Леночка, которая помнилась ей ребенком; ну, и леночкина семья, детишки — хоть не родная кровь, а все же что-то теплое, живое, замена нерожденным внукам... Так она и коротала старость, завещав Леночке все свое достояние, движимое и недвижимое, от колечка с изумрудом до шубы, холодильника и квартиры.

Несмотря на этот щедрый дар, супруги Орловы не баловали Нину Артемьевну вниманием. Жили они у площади Мужества, недалеко от Гражданки, но заезжали к «бабушке Нине» раз в два-три месяца и лишь по каким-нибудь делам — диван передвинуть или отведать пирогов в ее день рождения. Чаше звонили — по воскресеньям, почти что каждую неделю. Нина Артемьевна всегда была

на месте; в последний год побаливали у нее суставы, она старалась выходить пореже и не дальше магазинов и аптек. Так что Елена привыкла: пара гудков в телефонной трубке, потом — знакомый старческий голос: «Леночка, ты?..»

И вот однажды ей не ответили...

На этой печальной ноте красочный рапорт Суладзе оборвался, и Глухов, отодвинув бумаги и папку, одобрительно покивал головой. Затем произнес:

— Толковый у тебя капитан, Стас Егорыч. Все сделал, ничего не упустил. Пишет только цветисто... А от меня чего ты хочешь?

Кулагин оторвался от созерцания пейзажа с бригом, ткнул окурком в пепельницу и погладил подбородок, на котором пробивалась седоватая щетина.

— Капитан-то хорош, однако с тобой не сравнить. Доктор Ватсон, понимаешь? Неглупый, исполнительный, а все-таки доктор Ватсон... — Он снова закурил, выпустил к потолку фонтанчик белесого дыма и вдруг сказал: — Кстати, о Ватсоне... Помнишь того чудака, который нам криминальную психологию читал?.. В Высшей школе?.. Вейтсон он был по фамилии, а Толя Межевич его Ватсоном прозвал. Толя-то где

теперь? В УБОПе?⁶ С тобой сидит, на Литейном?

Глухов кивнул. Молодость, давние времена, счастливые... Ни гангстеров тебе, ни политических убийств... И Вера была жива...

— Пунктик у этого Вейтсона имелся... помнишь, Ян? Помнишь, как он про систему Станиславского толковал? Дескать, писатели, криминалисты и психологи — все те же лицедеи... Если вживутся в образ, то и напишут хорошо, и преступление раскроют, и пациента вылечат... Самое главное — влезть в чужую шкуру, составить психологический портрет и понять мотивы: отчего один дернулся туда, другой — сюда, а третий — так вовсе под поезд прыгнул. Словом, везде есть внутренняя логика, движения ума и сердца, интуитивные порывы и что-то там еще...

— Еще — душевные болезни. Паранойя, например, — произнес с улыбкой Глухов. Он понимал приятеля; нелегко, горек милицейский хлеб, а у начальника РУВД — тем более. И если выдался случай расслабиться, пофилософствовать и поболтать со старым другом, кто избежит такого искушения? Особенно после беседы с нервным и обозленным потерпевшим.

⁶ УБОП — Управление по борьбе с организованной преступностью (примечание автора).

— Да, паранойя, — согласился Кулагин. — Бредовая навязчивая мысль... идея-фикс, можно сказать.

— Это ты о причине жалоб и заявлений Орловой?

— Вот именно. Подумай, Ян, в своем ли баба разуме? Что она хочет доказать? Что деньги пропали? Так сумма доплаты могла быть меньшей — ну, конечно, не шесть тысяч, а двенадцать или пятнадцать... Может, старушка-генеральша кому-то часть денег отдала или припрятала так, что не найдешь во веки... А может, Орлова просто врет. Врет, как сивый мерин! То есть, кобыла!

— Зачем? — бровь Глухова приподнялась.

— По вредности характера. Или от болезненных причин. Ты ведь заметил, что есть тут непонятные нюансы? Можно сказать, совсем нетипичные и не похожие на правду?

— Разумеется. Вот здесь, — Глухов показал глазами на розовую бумажку. — Если эти подсчеты верны, то получается, что вор часть денег взял, а часть оставил. Очень крупную сумму, семь тысяч долларов! Почему?

— А потому, что либо вор ненормальный, либо Орлова Елена Ивановна. В последнее мне как-то больше верится. — Кулагин начал складывать документы в папку, потом закрыл ее,

отодвинул на край стола и хитровато прищурился: — Видишь, Ян Глебыч, дело-то не простое, хоть может и дела-то никакого нет, а есть одни загадки психологического поведения. Чужая душа — потемки, а женская — сущий мрак! Может, эту Орлову какой милицейский хрен обидел, так что теперь она на мне высыпается, а может, нервозна и склочна от сексуальной неудовлетворенности... Кто разберет? Только ты, Глебыч, поскольку Вейтсон помер — земля ему пухом! А ты ведь не хуже Вейтсона, ты даже лучше, не теоретик, а практик, тебе и карты в руки. А вместе с ними — и эта папочка... Ну, так возьмешь дело? Ты ведь такие задачки любишь... проблемки для психолога, а?

Это было не лестью, а святой истинной правдой — такие проблемки Глухов любил. Особенно с тех пор, как расстался с креслом руководителя бригады «Прим» и пересел за стол эксперта-криминалиста, вдруг осознав, что в пятьдесят ноги не так резвы, как в сорок, что в поясище временами ломит, а вот голова соображает хорошо, вроде бы даже получше, чем в молодости. Бригаду по старой памяти все еще именовали глуховской, а ее сотрудников — «глухарями», и был к тому еще один повод, кроме фамилии прежнего шефа: в «Прим» спускали

исключительно «глухарей», протухших за давностью лет или отсутствием доказательств. Не в порядке пренебрежения или, тем более, неприязни со стороны начальства; «Прим», по сути своей, был бригадой, где доследовали дела неясные и глухие, большей частью связанные с трупами, что пролежали в земле месяцев шесть без паспортов в карманах, и без самих карманов, без пиджаков, а иногда без кожи. Как раз один такой труп сейчас висел на Глухове, однако отказывать друзьям он не привык. И потому хмыкнул, покосился на папку и вымолвил:

— Ладно, Егорыч, возьму. Только оформи, как положено, да Олейнику перезвони — все-таки шеф... — Олейник был из лучших его учеников, командовал в данный момент «глухарями» и состоял в резерве на должность заместителя начальника УГРО. Было ему всего лишь тридцать шесть, и Глухов лелеял надежды, что лет через двадцать выйдет из Олейника немалый толк — или министр МВД, или директор ФСБ.

— А как же? Оформлю и позвоню, позвоню и оформлю, и капитана тебе отдам, этого самого Суладзе, на целых две недели... — Кулагин вскочил и стал собираться, распихивая по карманам сигареты, зажигалку, носовой платок и бормоча: — Капитан-то еще молодой... вот пусть учится...

пусть учится, пока ты жив... когда-нибудь станет полковником и будет хвастать: а я с самим Глуховым Яном Глебычем работал!.. по знаменитому делу о генеральше Макштас... той самой, что щель в стене заклеила долларами... а мы с Ян Глебычем обои отодрали и их нашли... сотню ассигнаций по сотне... так что наследнице пришлось их отпаривать и соскабливать острым ножиком...

— Будет тебе ехидничать, — сказал Глухов, поднявшись и шагнув к дверям. — Лучше взгляни, что я Андрюше купил.

— А что? Что такого можно купить Андрюше, чего у него еще нет? — буркнул Кулагин, однако в сумку заглянул. — Так, книги... Какие книги?

— От тебя — Уголовный кодекс в трех томах, с комментариями, а от меня — Ростан. В переводах Щепкиной-Куперник.

— Ростан? Который стихи писал? Это хорошо... Мартьяныч стихи уважает... особенно классику... — Кулагин запер дверь, подергал ручку и вдруг предложил: — Знаешь что, Глебыч? Пусть Ростан от меня, а кодекс — от тебя. Вместе с комментариями. Зато капитана Суладзе я тебе на месяц отдам. Владей и командуй! Идет?

— Идет, — согласился Глухов и по привычке взглянул на часы. Было девятнадцать-ноль-две. —

Давай-ка, Стас Егорыч, шевелись. Знаешь ведь, не люблю опаздывать. И торопиться тоже не люблю.

— А тебе-то зачем торопиться? Шофер мой пусть торопится, он парень шустрый. Сейчас добудем его из дежурной части, мигалку включим и помчимся с музыкой.

— Смотри, гостей распугаешь.

— А зачем Мартьянычу гости, которые нас боятся? Ну скажи мне, зачем? Это с одной стороны. А с другой...

Они покинули приемную и по гулкому коридору направились к лестнице.

Глава 3

Восьмого марта, в понедельник, оздоровительный центр «Диана» работал только до двух. Но посетителей старались выпроводить к двенадцати, так как, в соответствии с шестилетним обычаем, в полдень начинался обход начальства — с цветами, подарками и поздравлениями.

В «Диане» трудилось около ста человек, и две трети из них относились к прекрасному полу — большей частью, в самый прекрасный период расцвета, от двадцати до тридцати пяти. Мужчин, впрочем, тоже хватало — тренеров, врачей и массажистов, а также охранников-«скифов» и

представителей технических служб, от дяди Коли-водопроводчика до инженера, чинившего медицинскую аппаратуру. Виктор Петрович Мосолов, хозяин и директор, не возражал против народной традиции, согласно которой в каждом подразделении, на каждом этаже, устраивались праздничные чаепития с домашними кексами и пирогами, но раньше он лично поздравлял сотрудниц. Во-первых, он был женолюбив, а во-вторых мероприятие носило воспитательный характер, так как в процессе обхода кое-кому из дам, кроме цветов и скромных подарков, вручались запечатанные конвертики, причем их толщина была пропорциональна ценности и нужности специалиста. Той, которая не получала их ни разу, стоило серьезно призадуматься; и эти раздумья нередко кончались вызовом к Лоеру, выходным пособием и прощальным поцелуем.

В день восьмого марта обход начинался с третьего, косметического этажа и был обставлен весьма торжественно. Первым в колонне поздравляющих шествовал сам Виктор Петрович, осанистый крупный мужчина за пятьдесят, вместе с супругой Дианой (в ее честь и называлось заведение); Диана держала огромный букет, а у Виктора Петровича руки были свободны, чтоб обнимать, поглаживать, похлопывать и

поздравлять. За ними шагал тощий длинный Лоер, вручавший букетики мимозы, открытки, подарки и конвертики; конвертики он доставал из внутреннего кармана пиджака, а корзины с мимозой и подарками тащили дюжие парни, тренеры из атлетического зала. Далее двигались инженеры и врачи-мужчины, три массажиста — Баглай, вертлявый Леня Уткин и мрачный пожилой Бугров, а за ними — низший технический персонал, как всегда навеселе по случаю праздника. Завершали процессию «скифы» в пятнистой униформе и тяжелых шнурованных башмаках — ни дать, ни взять, команда «зеленых беретов», явившихся из гондурасских джунглей. Они придавали шествию необходимую торжественность и экзотичность.

Закончив с третьим этажом и облегчив изрядно корзинки, Мосолов со свитой спускался ниже, в физиотерапевтическое отделение, потом — к кассиршам, регистраторшам, гардеробщицам и тренершам из зала аэробики и комплекса водных процедур. Здесь обход заканчивался; Диана, хозяйская супруга, уезжала домой на кокетливом розовом «пежо», а мужчины расходились по этажам, чтобы поздравить прекрасных коллег в менее официальной обстановке, у накрытых столов, под канонаду бутылок с шампанским. Массажисты, среди которых была только одна девушка, Лидочка Сторожева, выпивали и закусывали вместе с

физиотерапевтами, в большом процедурном кабинете напротив курилки, откуда, по случаю праздника, выносили все железное и электрическое. Баглай эти сборища не любил, но отказаться от участия не мог — это было б вопиющим нарушением традиций и ущемлением женских прав.

А права на него согласились бы предъявить многие, не одна лишь Вика Лесневская. Он был мужчиной в самом соку, широкоплечим и рослым, с сильными мускулистыми руками и внешностью голливудского киногероя: не красавец, однако из тех парней, коим назначено играть роли агентов, ковбоев и благородных мстителей. Лицо с правильными чертами немного портили близко посаженные глаза и тонковатые губы, но все остальное было вполне на высоте: крепкий квадратный подбородок, классической формы нос, брови вразлет, серые очи и светлые волосы с чуть бронзоватым оттенком. Вероятно, отцом его все-таки был скандинав, какой-нибудь красавец-швед или норвежец, переспавший с русоволосой русской девушкой и позабывший о ней через полчаса — то ли под действием винных паров, то ли от того, что другая уже поджидала своей очереди.

Но к неведомому отцу Баглай не имел претензий. Он с ним не жил, его не знал, не перенес

от него обид и даже в какой-то степени был ему благодарен. Отец одарил его всем, чем мог — несокрушимым здоровьем, крепкими мышцами, белой кожей; что же еще спрашивать с отца по случаю? Другое дело — мать. Мать, дед, бабка, отчим и пара щенков, братец с сестрицей... Этих он вспоминал с тихой неутоленной ненавистью, особенно деда, шумного, властного, бесцеремонного; эти воспоминания были связаны с Москвой и богатой квартирой в Столешниковом переулке, с нахальным блохастым пуделем, которого держала бабка, с затрещинами и злыми глазами матери. С тех пор он невзлюбил Москву; она являлась символом его унижений, безрадостного детства, попранной юности. Баглай бы отомстил, но жизнь сама расправилась с обидчиками: с началом перестройки, лет десять назад, деда выгнали на пенсию, он погоревал и умер, а вместе с ним исчезло все семейное благополучие. Бабка тоже отправилась в лучший мир, не дожив до семидесяти, затем скончалась мать — по слухам, умирала в мучениях, от нефропатии. Отчимом, братцем и сестрицей Баглай вовсе не интересовался, а блохастый наглый пудель давно уж сдох. А жаль! Эту псину он придушил бы собственными руками!

Жора Римм, сидевший напротив, подмигнул ему и потянулся с рюмкой — чокаться.

— Что-то ты, Баглай, невесел. И аура у тебя страшноватая, темно-багровая, и посередке кровушкой отливает... С чего бы, а? Ведь рядом с такими дамами сидишь! С Викторией и Лидочкой! Не девушки, а именины сердца! Тут просто положено светиться голубым. В крайнем случае — зеленым.

Цвет ауры был Баглаю безразличен, но, вспомнив о нежных оттенках китайской нефритовой вазы, он провел языком по губам, щедро плеснул шампанского Вике и Лидочке и чокнулся с Жорой. Их рюмки зазвенели словно два хрустальных колокольчика.

— За голубой и зеленый. За весеннюю ауру! И за чакру любви. Чтоб прана в ней не иссякала!

Девушки порозовели, захихикали, скромно опуская глазки, но тост с охотой поддержали. Сидевший справа от Вики гомеопат Насибов умильно улыбнулся ей и предложил:

— Взгляни-ка, Жора, на мои цвета. Чем отливает? Спорю, что голубым!

Экстрасенс прищурил глаз, осмотрел Насибова сквозь опустевшую рюмку и вдруг захохотал.

— Не надейся, лечебный ты мой одуванчик! Желтой похотью сияешь, да еще с оттенком педофилии!

— Вот те раз! — с наигранной обидой сказал Насибов. — Ну, я понимаю, похоть... похоть — это мое обычное состояние... Но педофилия-то при чем? Вовсе я не педофил, да и Виктория у нас не девочка.

— Все они сегодня девочки, все невинны, как божьи коровки, и всем им по шестнадцать. — Римм обнял за талии своих соседок, врачей Ирину и Ольгу, с гарантией перешагнувших сорокалетний рубеж. Обе жарко покраснелись от выпитого, от комплиментов и от магической силы, проистекавшей из рук экстрасенса. Ирина, поигрывая объемистым бюстом, принялась накладывать Жоре салат, а Ольга с завистью изучала точеную шейку Вики и свежие щечки Лидочки.

Римм потянулся к коньяку, разлил по всем стаканам и рюмкам в пределах досягаемости и погрозил Вике пальцем.

— Смотри, Виктория! Смотри, поберегись! Сидишь между котом и тигром. А вдруг укусят? Или совсем съедят?

— Я бы не возражала, — откликнулась Вика с чарующей улыбкой, касаясь коленом ноги Баглая.

— Тогда — за женскую смелость и щедрость! — провозгласил Жора, опрокидывая рюмку в рот. Был он уже изрядно пьян, но ухитрился скорчить серьезную физиономию,

озабоченно нахмурился и громким шепотом спросил:

— А кому отдашься на съедение, детка? Коту или тигру? Или обоим вместе?

Лукавые викины глазки стрельнули налево-направо и остановились на Баглае, а коленка прочно уперлась ему в бедро. Тем же громким шепотом она ответила:

— Тигру, Жорик, всенепременно тигру. У него ведь та-акая ба-альшая пасть!

На эти намеки и подначки Баглай ответил снисходительной усмешкой. Тигр... Ну, пусть будет тигр, еще не старый, многоопытный, вполне боеспособный... Ему исполнилось сорок, но выглядел он моложе лет на пять, знал, что недурен собой, и ощущал свою притягательность для слабого пола, подогретую неким ореолом таинственности. Ходили в «Диане» сплетни, что какой-то тибетский монах посвятил его в тайну эротического массажа, что он — ненасытный любовник, и что ему известен способ, то ли китайский, то ли индийский, как излечить фригидность у самой примороженной из женщин. Баглай этих слухов не подтверждал и не опровергал, отлично представляя, сколько в них правды и сколько — лжи, фантазий и выдумок. Насчет эротических манипуляций все было

истиной, только учился он этому не у Номгона Тагарова, а у древнего банщика-турка, переселившегося в Питер из Тбилиси. Он вообще не упускал возможность чему-нибудь где-нибудь поучиться, касалось ли это его искусства или иных вещей, никак не связанных с позвоночными дисками, подагрой и радикулитом.

Но, сознавая свою мужскую привлекательность, Баглай считал, что полагаться только на нее не стоит. Все относившееся к сфере чувств, и первым делом — любовь, доверие и искренность, казались ему понятиями несуществующими реально, а если и существующими, то слишком хрупкими, зыбкими, ненадежными, неподходящими для того, чтоб полагаться на них в серьезном деле. Жизнь, несомненно, относилась к таким делам, очень ответственным и серьезным, и в ней не было места доверию, искренности и любви. Впрочем, для любви имелся заменитель — секс, искусный и, разумеется, оплаченный, когда каждая из сторон-партнеров сознает, что становится предметом сделки и как окупятся искусство и труды. Секс являлся категорией реальной и даже не исключавшей понятий нежности и близости, но лишь тогда, когда за них платили, причем платили хорошо. Этот базовый тезис был очевиден

профессионалам, но дилетантов нередко отпугивал своей неприкрытой наготой. Дилетантам он казался неприятным — так же, как неприятен вид обнаженного механизма, без гладких, полированных, ярко окрашенных покровов.

И, в силу подобных причин, Баглай не слишком любовался на викины глазки, коленки и ножки. Ему были известны другие способы сублимации сексуальной энергии, более безопасные и надежные. Для этого он предпочитал профессионалок, а Вика пока что играла в разряде дилетантов. Правда, талантами Бог ее не обидел.

Бутылки и тарелки опустели, застолье кончилось, женщины начали расходиться по домам, мужчины — за исключением экстрасенса, улизнувшего в курилку — прибираться в комнате. Перетащив три тяжелые установки Дарсонваля, Баглай решил, что его участие в общественных трудах завершено, и, не торопясь, направился в дальний конец коридора, к массажным кабинетам. Тут его поджидала Вика — уже одетая, в короткой песцовой шубке, с сумочкой через плечо.

— Ты вечером занят, Баглайчик? Или же нет?

Он остановился, уже предчувствуя, какой предстоит разговор.

— Меня тут в одну компанию пригласили... Очень приятный народец, с дачей, с хороминой у залива... кажется, в Сестрорецке... Сауна, пляски,

стол, а еще катание на тройках... или на яхтах, смотря по погоде... Сопроводишь одинокую девушку?

— А что потом? — спросил Баглай. — После сауны и катания на тройке?

Викины глазки блеснули, пальцы затеребили замочек сумочки. Пахло от нее чем-то пряным, возбуждающим, доставленным наверняка из парижских салонов — чем-то таким, что женщины применяют лишь с одной-единственной целью: для обольщения мужчин.

— Потом? — Взгляд Вики скользнул по мощной фигуре Баглая, задержавшись на его руках — будто девушка ожидала, что он вдруг схватит ее, сорвет шубку с платьем и повалит на пол. — Ну-у, потом... потом ты можешь явить свою тигриную сущность, Баглайчик. Кого-нибудь укусишь или съешь... прямо в санях... Ты тройкой умеешь править?

— Я все умею. Только в санях у нас не получится, крошка.

— А почему? — Вика капризно надула губки.

— Боюсь лошадей перепугать.

— Так можно в другом месте. Дача, говорят, большая, вся в диванах и коврах, чтоб было мягко кувыркаться.

Баглай молчал, приложив указательный палец

к верхней губе — произвольный жест, свойственный ему с юности. Молчание его можно было истолковать двояко, как нерешительность или знак согласия, но сам он точно знал, что кувыраться с Викой не будет — ни на диванах, ни в санях.

Она щелкнула замком, вытащила из сумочки конверт, подбросила его на ладошке, поднесла к баглаеву носу.

— Знаешь, меня и в другую компанию зовут... с большой настойчивостью приглашают... Вот в эту, понял? — Вика встряхнула конверт, потом ее ресницы взметнулись, брови сошлись ровной линией, придав лицу задумчиво-сосредоточенное выражение. — Приходится выбирать... Или туда, или сюда... Такая уж я редкая девушка — повсюду нарасхват! Куда же пойти?

Конверт был пухлым, основательным на вид, никак не отвечавшим викиным заслугам на поприще физиотерпии. Баглай отлично знал, что всякое тело — чужое, разумеется, а не свое — являлось для Лесневской кладезем жутких тайн и неразрешимых загадок. Трицепс от бицепса она еще могла отличить, но вот найти каротидный синус было выше ее возможностей.

Он еще раз оглядел конверт — аванс, который Вике предстояло отработать — и с неприятной

усмешкой произнес:

— Иди туда, где аппетитней пахнет. Тигры там не водятся, больше козлы и коты, зато и риска меньше. Не тебя съедят, а сама съешь. И будет наше заведение не «Дианой», а «Викторией».

— Это дельная мысль, — согласилась Вика и отступила от него.

— Очень дельная. Тигра только жаль. Все он, бедный, тогда потеряет — и женщину, и работу.

Она резко развернулась на каблучках и заспешила к лестнице. Баглай, пробормотав — «На мой век чужих спин хватит!» — стоял у дверей своего кабинета, быстрым движением языка облизывал губы и втягивал носом воздух. В нем еще витали пряные викины запахи, сладкие и дразнящие, как видение водопада в пустыне. Он представил ее обнаженной, потом — в шубке, наброшенной на голое тело, сидящей в кресле с широко раздвинутыми бедрами, с жадностью сглотнул, коснулся дверной ручки, стиснул ее словно полную девичью грудь, отпустил и тоже направился к лестнице.

В регистратуре стоял телефон, которым обычно пользовались сотрудники «Дианы». Сейчас тут было пусто; шторы на окнах задернуты, компьютеры выключены, ящики с картотекой — под замком, щиток над окошком кассы опущен. Тишина, полумрак, безлюдье, и никаких

посторонних ушей...

Баглай набрал знакомый номер. Ответила, как всегда, Ядвига — и, как всегда, узнала его по голосу. Тонкий слух был совершенно необходим в ее профессии, столь же тонкой и деликатной, не допускавшей ни имен, ни прозвищ, ни иных определений клиентов, ни писаной либо компьютерной бухгалтерии, ни, разумеется, налоговой отчетности. Налог Ядвига все-таки платила, но назывался он иначе, не налогом, а долей за охрану и защиту, и те, кто охранял и защищал — как бизнес Ядвиги, так и ее саму с девицами — имели смутное представление о балансе. Зато отлично разбирались в портретах американских президентов.

Восьмое марта — семейное торжество, и по намекам Ядвиги Баглай догадался, что звонок ее обрадовал, поскольку девушки простаивают, а бизнес терпит убытки. Ядвига, сочная сорокалетняя блондинка, считала себя менеджером, но ее предприятие обходилось без офиса и конторского оборудования, без складов, магазинов и контрактов, и даже — упаси Господь! — без записных книжек. Только телефонные номера, которые легко запомнить, и бесплотные голоса в телефонной трубке... Никаких оргий, сомнительных квартир и девушек по вызову; все чинно-благородно, у каждой труженицы — свой уютный дом, и кто к

ней ходит — дело частное, приватное. Возможно, папа римский или генеральный прокурор, возможно, женихи — категория непостоянная в отличие от мужа.

Такой порядок Баглая устраивал, так как водить женщин к себе ему не хотелось. Девушек у Ядвиги было предостаточно; одни уходили — замуж или на покой, но появлялись другие, ничем не хуже и даже лучше, поскольку разнообразие всегда влечет, а новизна — освежает и вдохновляет. В данный момент, вследствие праздничных обстоятельств, выбор был особенно широк: скучали целых семь девиц — Сашенька, Женя, две Татьяны, две Светы и Милочка. Баглай выбрал Сашеньку. Чем-то они походили с Викой — не лицами, скорее мастью, длинноногостью и резвостью характера. Но Сашенька, в отличие от Вики, была, конечно, профессионалкой и не грозилась выгнать Баглая с работы.

Глава 4

Домой Баглай возвратился в первом часу, сбросив пар в постели неугомонной Сашеньки. Она предпочитала активный секс — сидячие позы сверху, долгий стремительный гандикап со стонами и вскриками, контрастный душ на пару с партнером, немного садизма — но, разумеется, без

кнотов и наручников, какими балуются в заокеанских фильмах, только зубки и длинные ноготки. В общем, Сашеньке удавалось убажить клиента и довести до той кондиции, когда в глазах двоится, а в ушах звенит. По этой причине Ядвига к ней пожилых не посылала; для них и прочих слабосильных были задумчивая Милочка, две тихие спокойные Светланы и вяловатая Марина.

Баглай, немного утомленный, шагал вдоль парка, что тянулся от Песочной набережной. С реки в спину дул ветерок, раскачивал голые ветви деревьев, шарил по земле холодными пальцами, пытался что-нибудь соскрести, оторвать и подбросить в воздух, но плотный слежавшийся наст и прошлогодние листья не поддавались — и ветер, обиженно завывая, подпрыгивал к небу, чтоб отыгаться на тучах и редких снежинках. Хоть время было позднее, парк отнюдь не пустовал — в этот час в нем прогуливались собачники с особенно крупным клыкастым зверьем, на поводках и цепочках, но без намордников. Кое-какие из этих чудовищ приподнимали морды и, унюхав Баглая, провожали его утробным сдержанным рычаньем и недобрыми взглядами. Он тоже кое-кого узнавал: парня при мохнатом сенбернаре, овчарок и догов из соседнего подъезда, престарелого терьера с таким же дряхлым хозяином, едва волочившим ноги. Он

ненавидел их всех, всех и каждого, но более прочих — молодую высокую женщину и двух ее питомцев, ротвейлера и огромного мастифа. Женщина, кареглазая брюнетка с пухлыми губами, жила в его подъезде, у лифта на первом этаже, и когда Баглай спускался вниз, из-за двери ее квартиры доносились рык, удары тяжелых тел и скрежет когтей по дереву. Когда-нибудь, думал он, проклятые твари вышибут дверь и, оскалив пасти, роняя пену клочьями, набросятся на него парой злобных демонов.

Мерзость, мерзость!..

Баглай их не боялся, нет, он только испытывал отвращение при одной лишь мысли, что может погибнуть вот так, от гнусных и смрадных собачьих клыков, которые вцепятся в горло и будут рвать, давить, жевать... Сравнительно с этим полет в бездонную пропасть казался ему благословенной кончиной — долгое-долгое падение, которого хватит, чтоб вспомнить жизнь, все радости и горести, успехи и обиды, потери и приобретения; и, наконец — удар и темнота. Вечная тьма... Покой и забвение...

Он представил, как падает в бездну и вспоминает, вспоминает, не думая о завершающем ударе, о хрусте костей и бурой крови на грязном мартовском снегу. Кости, кровь, изувеченный

труп... И что с того?.. Это будет уже не он, а груды бессмысленной плоти, такой же холодной и вялой, как тела полумертвых старух и стариков, ложившихся к нему на стол. Их жизнь была такой же бессмысленной, как у ходячих трупов, наполненной болью и страхом в предчувствии смертных мук. Они совсем не нравились Баглаю — не больше, чем псы, бродившие в темноте, — но некоторым он оказывал благодеяние. Однако не бесплатно.

Поднявшись к себе на двенадцатый этаж, Баглай повозился с ключами, выбирая нужный, открыл два замка на двери, ведущей в закуток, потом еще два — на той, что вела в квартиру, разделся, поужинал и принял душ. Спать не хотелось. Можно было бы пристроиться за маленьким слесарным верстаком, сделать доводку ключей Черешина, но после игр с Сашенькой пальцы у Баглая чуть-чуть тряслись, и все труды могли пойти насмарку. Доводка — дело тонкое... Столь же тонкое и деликатное, как занятия Ядвиги...

Стоя у окна и разглядывая опустевший парк, озаренный слабым светом уличных фонарей, он подумал о своем зароке — не появляться в сокровищнице, пока не купит вазу. Слишком легкомысленный обет! С вазой и с ее хозяином Ли Чунем нужно подождать, хотя бы половину месяца,

а лучше — месяц. Чем больший срок разделит завершение Охоты и покупку, тем безопаснее... Это соображение было интуитивным, но вполне отчетливым; внутренний голос подсказывал ему, что деньги нельзя потратить тут же, сразу, что связь меж их изъятием и появлением на свет должна быть замаскирована и скрыта. А время — непревзойденный мастер маскировки; значит, надо ждать, не торопиться, не спешить.

Результатом последней Охоты Баглай остался недоволен. Ни редкостей, ни ценностей, одни лишь деньги... Деньгами он, разумеется, не брезговал, но деньги сами по себе его не привлекали, являясь средством, а не целью. Правда, в этот раз сумма оказалась крупной, и он, по своему обыкновению, мог проследить источник средств, прикинуть все возможные расходы и выяснить границу безопасности. Почти как в случае с писателем... Но у него он взял не только деньги, а еще картину, тот самый венецианский пейзаж кисти Франческо Гварди...

Баглаю вдруг захотелось взглянуть на него — страстно, нестерпимо. Переживаемый экстаз был сильнее, чем в жарких объятиях Сашеньки, ибо ее он покупал на время, ее — и прочих женщин — делил со многими мужчинами, тогда как сокровища принадлежали только ему. Он не испытывал подобных чувств в музеях и на вернисажах — ведь

всем, что выставлялось и продавалось, он завладеть не мог, а недостижимые предметы оставляли его равнодушным, ибо страсть к прекрасному была неразрывно связана с обладанием.

Будто в сомнамбулическом сне, Баглай поднялся, вышел в закуток, открыл запоры и замки на левой двери и шагнул в прихожую. Тут была еще одна дверь, железная, откатная; она перегораживала проем меж двух бетонных колонн внушительной толщины. Он растворил ее, перешагнул порог, поправил плотные шторы на зарешеченных окнах, и только после этого коснулся выключателя. Вспыхнул свет. Баглай направился к креслу и сел.

Помещение казалось длинным и узким, так как было составлено из двух пятнадцатиметровых комнатушек, кухни и разделявшего их некогда коридорчика. Дом построили лет пятьдесят назад, в послевоенные времена, по какому-то экспериментальному проекту; стены, как наружные, так и между квартирами, отличались изрядной толщиной, а кроме того, строение поддерживалось внутренними бетонными колоннами — вероятно, собирались строить небоскреб на двадцать этажей, но в силу неведомых причин ограничились двенадцатью. Зато перегородки в квартирах были не кирпичными, а пустотелыми, из досок и сухой штукатурки. Баглай их снес, не тронув только прихожую и совмещенный с ванной туалет — где,

как в любом приличном музее, были оборудованы запасники. Эту работу, вместе с ремонтом и установкой дверей, он выполнил самостоятельно; так жрец готовит святилище для божества, не допуская, чтоб прикоснулись к нему чужие святотатственные руки.

Он сидел в кресле бидермейер у круглого столика в стиле ампир на шести массивных ножках, которые заканчивались бронзовыми львиными лапами. Над его головой сияла хрустальными подвесками люстра; справа висели резной двустворчатый шкаф и огромный буфет двухсотлетней давности, творения венгерских мастеров; слева, в простенках между окнами, находились комод, секретер и застекленные витрины в стиле барокко, из махагона, амаранта и тикового дерева. Над ними висели картины — старинные, семнадцатый и восемнадцатый век, Италия, Франция и Фландрия, пейзажи с мельницей над сумрачным потоком, с развалинами греческого храма и с панорамой гор — возможно, Альп, возможно, Апеннин. Все остальное — кресла и столы, ковры и вазы, подсвечники, посуда, статуэтки, диван с изящной вычурной спинкой и большой сундук в углу — все было тоже старинным, редкостным, тщательно отреставрированным и пахнущим тем неповторимым ароматом лака, воска, ткани и духов,

какой возникает лишь по прошествии столетий.

Прямо перед Баглаем с торцовой стены спускался персидский ковер — синий, с голубыми и пепельными узорами, а перед ним, словно миниатюрный дворец на тонких изогнутых ножках, стоял ореховый комодик с расписными фарфоровыми медальонами и со столешницей, отделанной лазуритом. Картина Гварди висела над ковром — довольно большое полотно в широкой золоченой раме: воды, облака и небеса, а между небом и морем — строй кораблей у пирсов, палаццо, башни и мосты, устья каналов с крохотными черточками гондол и купола соборов. Вспомнив о вазе, Баглай опять подумал, что здесь, под картиной, на фоне ковра, ей самое место. Затем погрузился в созерцание.

Эта картина навевала воспоминание о детстве — одно из редких воспоминаний, которые не были неприятными и унижительными. Что-то подобное — небо и море и пестрый город меж ними — висело в московской квартире, в кабинете у деда или в столовой — он уже в точности не помнил, но знал, что то была всего лишь копия, хотя и неплохой итальянской работы. Дед, Захар Ильич Баглай, был из больших спортивных чиновников, числился в ранге замминистра и обладал всеми положенными льготами — кремлевским пайком, казенной дачей и персональным автомобилем. Но

самым лакомым кусочком пирога были, конечно, зарубежные поездки — то со спортивной делегацией, то на какой-нибудь чемпионат или на первенство мира, в Европу и Америку, или совсем уж в экзотические места, в Японию либо Австралию. Дед путешествовать любил, и в Спорткомитете об этом знали и посылали его туда и сюда без отказа, для вдохновения штангистов и шахматистов, борцов и прыгунов. Главной его задачей были медали, желательны — золотые; еще он был обязан доставить всех медалистов обратно, не потеряв никого в Америках или Австралиях.

Кроме поездок, дед обожал старинные вещи, особенно бронзу, фарфор, хрусталь и серебро, предметы столь же массивные и дорогие, сколь долговечные и блестящие. Квартира в Столешниковом переулке была набита ими до отказа, как антикварный магазин, но дед их не считал коллекцией, равно как и себя не числил в собирателях и коллекционерах. При случае он представлялся как скромный любитель старины, что было вполне патриотично и, к тому же, являлось мудрой предосторожностью — коллекционеров в советские времена не жаловали. Коллекционер был не то чтоб врагом трудового народа, однако личностью подозрительной, владельцем художественных богатств, неведомо как нажитых и, по всем понятиям и законам,

входивших в категорию добра общественного, а уж никак не личного. Во всяком случае, с партбилетом собирательство было несовместимо или совмещалось с трудом, на уровне марок либо открыток, однако не бронзы, картин и хрусталя. Дед партбилетом дорожил и потому представлялся любителем.

У бабки Марии Евгеньевны имелась другая страсть — драгоценности и туалеты. То и другое не возбранялось демонстрировать, особенно на дипломатических приемах, чтобы всякий зарубежный враг усвоил: братская семья народов несокрушима и крепка, а жизнь в ней богата и привольна. Иными словами, на каждый алмаз из Родезии найдется у нас по три якутских, водой почище и поболее весом. Усвоив этот нехитрый принцип, Мария Евгеньевна играла роль советской львицы столичного бомонда с искренним энтузиазмом и увлечением. То было лучшей половиной ее жизни; а вторая, не столь блестящая, но тоже занимательная, делилась между портнихами, пуделем, Захаром Ильичем и единственной дочерью Оленькой.

Ольгу воспитывали для партии — не коммунистической, а брачной, солидной и достойной во всех отношениях. Жизнь ее была расписана на тридцать лет вперед: было точно известно, когда она закончит с золотой медалью

школу, когда поступит в институт (разумеется, физкультурный, чей ректор пил коньяк с Захаром Ильичем), когда защитит диссертацию по прыжкам с шестом, по фехтованию или метанию копья, когда выйдет замуж — за обеспеченного номенклатурного мужчину, способного ее лелеять и холить, когда родит ребенка — с той же жизнью, расписанной наперед, как у нее самой. Оленька родительским планам не сопротивлялась и шла от этапа к этапу с похвальным усердием: от октябрятской звездочки — к пионерскому галстуку и комсомольскому значку, а там — к золотой медали и институту. Училась она с легкостью, имела приятное личико, стройные ножки и кое-какие успехи в фехтовании.

Случайность все переломала.

В пятьдесят седьмом Ольге исполнилось девятнадцать, она закончила второй курс, и отец говорил о ней с гордостью: красавица моя и умница. А мать добавляла: комсомолка, спортсменка, отличница! Но тут нагрянул Фестиваль — тот самый, молодежи и студентов — и Ольгу, комсомолку и отличницу, владевшую немецким и английским, пристроили к группе иноплеменных гостей. Плохого в том ничего не было; она с подружками показывала им Москву, а парни ее обожали — как и других девиц из группы, без всяких расовых различий и сословных

предрассудков. Гостеприимную программу завершил поход — вылазка на Клязьминское водохранилище, с ночевкой в палатках, купанием и шашлыками. А где шашлыки, там и вино, потом — таинственное запретное виски, которое нужно попробовать, отчасти из любопытства, отчасти — чтоб не обидеть гостей. Выпили много, а что случилось после, о том Ольга не знала, не помнила и не догадывалась. Когда догадалась, когда потянуло к соленому и начало тошнить, было уже поздно. Пришлось брать академку и рожать.

Так юная студентка Института физкультуры, девушка из приличной семьи, комсомолка, спортсменка, отличница, сделалась матерью-одиночкой. В общем-то не трагедия, не драма, но Захар Ильич и Мария Евгеньевна никак утешиться не могли — ведь у чинов номенклатурных внук появляется на свет только законным путем и при живом отце, со всеми надлежащими документами. В крайнем случае, допускался отец-покойник — летчик или герой-полярник, съеденный белым медведем, но уж документу положено быть — как и отцовскому отчеству и фамилии.

Но что поделаешь — Фестиваль... Фестиваль, будь он неладен!

Впрочем, Оленьку родители не виноватили.

Девочка юная, неопытная, что с нее взять?.. Что она знала, что понимала?.. Правда, ее учили, что иностранцам доверять нельзя, особенно западным людям, ибо живут они в обществе тлетворного капитализма, который плох, развратен и жесток. Но звериный его оскал таился где-то далеко, за морями и горами, за полосой отчуждения, за пограничными столбами и «железным занавесом»... Казалось, не достанет, не укусит!.. Однако достал и укусил.

Нет, Ольгу они не винили — винили и ненавидели того подонка, то ли немца, то ли шведа, что подпоил их девочку на князьминских зеленых берегах. Ненавидели смертной ненавистью, не зная, кто он таков, откуда явился и куда ушел, и потому их чувство было иррациональным; так можно ненавидеть абстрактную идею или гипотетического врага, разбойника и грабителя, который, быть может, лет через пять встретится в темном закоулке, вытащит ствол и прорычит: ну, фраер, выворачивай карманы!

Но ненависть — слишком сильное чувство и редко бывает безадресным. Тем более, что адресат неподалеку, не надо его искать — здесь он, тут как тут, вертится под ногами, чего-то требует, пищит...

Так Баглай и рос — приبلудный щенок, нелюбимый ребенок, ненужный и нежеланный, позор семьи... Из детства он вынес немного — фамилию Баглай, ненависть к собакам и старикам,

смертельную обиду на мать и пристрастие к антиквариату. Последнее было явлением неизбежным, результатом перверсии любви; если нельзя любить что-то теплое, живое, хоть канарейку, хоть котенка, любовь обращается к вещам, к предметам холодным, безразличным, но красивым, и кажется, что это и есть самая истинная любовь — ибо предметы не живые, они покорны своему владельцу, они не обидят, не предадут, так как понятия обиды и предательства им попросту неведомы. Они позволяют любоваться собой, трогать, гладить, ласкать и греть в ладонях, но главное — они позволяют обладать; обладать столь полно и всеобъемлюще, сколь ни один человек не может обладать другим. Эта страстная тяга к вещам временами принимает болезненные формы, становится заботой сексопатологов и именуется фетишизмом; но чаще ее называют жадностью.

Баглай, однако, не был ни больным, ни слишком жадным. Вернее, эти обстоятельства присутствовали в том букете чувств, которые внушало лицезрение красивых дорогих предметов, но лишь как фон, как декорация спектакля. Актеры тут были другие — отчасти злорадство, но в большей степени самоудовлетворение и торжество. Люди — а семья ассоциировалась у него со всеми людьми — не проявляли к нему ни доброты, ни ласки; люди владели столь многим, желанным для

него, но недоступным; люди, наконец, не хотели делиться, и на попытку насильственного отторжения своих богатств отвечали стократным насилием. Но он обманул их, придумал способ убивать и отнимать, не подвергаясь опасности и каре — и в том состояло его торжество. Оно же было важной частью удовольствия: когда он глядел на свои сокровища, то вспоминал, что и когда ему досталось, а главное — как и от кого. В отличие от детских, эти воспоминания были приятными.

Мать его Оленька все же закончила институт и превратилась в Ольгу; потом, после защиты диссертации — в Ольгу Захаровну, перспективного преподавателя и тренера. Потом удачно вышла замуж и родила детей; супруг, чиновник нефтяного министерства, был много старше, но зато берег ее и холил. Жизнь наладилась, и старый невольный грех мог бы совсем забыться, если б не постоянное напоминание о нем. Это раздражало; мнилось, что в иных обстоятельствах все могло бы сложиться удачней, карьера шла бы без помех, а муж мог быть помоложе и покрасивее, а также повыше чином и перспективнее — скажем, из министерства иностранных дел.

Баглай подросток, но мать и отчима не радовал. Учился с неохотой, был нелюдим, все делал наперекор, к двум малышам, сестренке и братцу, не проявлял родственных чувств, и никаких талантов,

кроме несокрушимого здоровья, в нем не замечалось. Мать мечтала, чтоб он поступил в институт — экономический, медицинский, не важно какой, лишь бы поднялся быстрее на ноги, что было б поводом расстаться и забыть. Но он и тут пошел наперекор — закончил школу, проболтался год на курсах при медицинском институте, экзаменов не сдал и прямым отправился в армию.

Взяли его в ВДВ, по причине крепкого телосложения и неприкрытой агрессивности. Попал он на север, в войсковую часть под Выборгом. Учили там хорошо и учили долго, месяцев десять, а после, во имя интернациональной солидарности, отправляли в Афганистан. Все эти десять месяцев афганские горы маячили перед Баглаем, и слышал он в снах жужжание муджахедских пуль, грохот взрывов и злые гортанные вопли на чужом языке. Жизнь опять поворачивалась не лучшей стороной: кто-то учился в институте, кто-то гулял с девочками, кто-то мог шарить в родительском кармане, брать и тратить, не считая; а расплатиться за них должен был он, Баглай. По самому крупному счету: жизнью своей либо увечьем, а в оптимальном случае — неизбывной злобой, какую питают неудачники к счастливым. Злобы же в Баглае и так хватало, но это начальникам нравилось. Какой боец растет!

Так что загремел бы он в Афганистан, если б не счастливый случай. Кроме стрельбы и прыжков с парашютом, курс подготовки включал неотложную помощь — обращение с аптечкой, перевязка ран, врачевание ушибов и растяжений, массаж и самомассаж. Занятия эти велись медицинским майором с нерусской фамилией Шульман; но, будто искупая этот грех, был он заботлив и вежлив, и даже в какой-то степени добр — насколько доброта уместна в ВДВ. Баглай, проявивший внезапные способности к массажу и к медицине вообще, быстро попал у Шульмана в любимчики, что отразилось на его карьере самым благотворным образом.

Приехали в часть генералы, из Ленинграда, с инспекцией; собственно, инспектором был один, а другой — вроде его приятель, но тоже двухзвездный генерал под шестьдесят, в штанах с лампасами и с орденской колодкой в две ладони. Генералам, по армейскому обычаю, накрыли стол, а до того попарили в бане, и стала та баня баглаевым звездным часом. Шульман, то ли по доброте, то ли желая выслужиться, упомянул, что есть-де в части солдатик-массажист, какого не стыдно подпустить к генеральским спинам — ну, и подпустили. Старания Баглая так понравились инспектору, что тот заметил: такой талант не должен пропадать, под

парашютом болтаться и рыскать по горам — а значит, место ему не в Афгане, а в спорткоманде округа. Что и свершилось через неделю; так что Баглай дослуживал в Питере, массируя мышцы армейским штангистам, борцам и бегунам.

Отслужив, он вернулся в Москву, но не в квартиру деда, а в комнату в коммуналке на Старом Арбате, которую по своим связям выхлопотал Захар Ильич. Дом стоял в центре, комната была большой, просторной, на два окна, соседи — приличными и пожилыми, однако Баглай не остался в Москве, а поменял столичную жилплощадь на крохотную ленинградскую квартирку. Была она полуподвальной и сырой, холодной, как могила, без всяких излишеств, за исключением необходимых, зато на Петроградской стороне. Баглая неудобства не смущали; главное — убраться от родных, уехать из столицы. И он уехал. Навсегда.

Вниманием ему не докучали. Адрес свой, ни прежний, ни нынешний, он не давал, и мать писала иногда на главпочтамт; затем, в конце девяностого, проклюнулся отчим — сообщил о похоронах матери, с намеком, что не худо бы Баглаю появиться и проводить усопшую в последний путь. Но письмо пролежало на почте две недели, мать проводили без Баглая, и он был этому рад. Горя он не испытывал и о матери не вспоминал; помнил лишь раздраженную женщину с вечно злыми

глазами.

...Он поднялся, быстрым движением облизал губы, подошел к секретеру из тикового дерева и выдвинул ящичек, где хранились лупы в латунных и бронзовых оправках. Затем приблизился к картине Гварди, поднялся на носки и стал рассматривать пейзаж — то его место, где маленькая гондола, покинув улицу-канал, плыла в сияющий простор лагуны. Гондольер стоял на носу суденышка, а на корме сидела дама в роскошном зеленоватом платье, и хоть ее фигурка и лицо были совсем крохотными, Баглаю почудилось в них что-то знакомое. Черты Виктории? А может, матери? Такой, какой она была лет в тридцать?

С минуту он размышлял о матери и о Вике Лесневской, а также о том, кем могла бы стать для него Виктория — да вот не станет, в силу множества причин и неблагоприятных обстоятельств; затем покачал головой, представив, что на корме гондолы — не загадочная венецианка, а нефритовая ваза. Китайская древняя ваза с клыкастым драконом, редкостный раритет ценой в пять тысяч долларов.

Ваза смотрелась лучше женщины.

Глава 5

Дело генеральши Макштас, присланное из Северного РУВД, легло на стол к подполковнику Глухову во вторник, девятого марта. Папку доставил щеголеватый черноглазый капитан Джангир Суладзе, но кроме глаз, фамилии да имени в нем не было ничего кавказского; как выяснилось с первых слов, в Грузии он не бывал, грузинского не знал, мать у него из Витебска, да и отец родился не в Кутаиси, не в Тбилиси, а в Ленинграде. Установив эти подробности биографии помощника, Глухов перелистал бумаги, вытащил рапорт Суладзе и углубился в его изучение.

Они сидели в маленьком глуховском кабинетике, где всякая вещь и документ находились на своих неизменных местах: текущие дела — в шкафу на верхней полке, в аккуратных скоросшивателях; те, что полагалось сдать в архив — тоже в шкафу, только пониже; в левом ящике стола — канцпринадлежности, скрепки, ручки, карандаши; в правом — чистая бумага и копирка; в тумбе — кофейник, баночка кофе, кружка, тарелка и ложка; на стене — морской пейзаж, на вешалке у двери — плащ с шерстяной подкладкой и берет — в обычное время Ян Глебович предпочитал ходить в гражданском. Оружие и кое-какие ценности — скажем, перстень с пальца разложившегося трупа — хранились в сейфе; все — пронумерованное и распиханное по пакетам и пакетикам, с записью, к

каким делам относится та или иная вещь и где на нее акт экспертизы. Обстановка была неизменной уже лет пятнадцать, и лишь столик у окна, который прежде прогибался под тяжестью «Олимпии»⁷, теперь подпирал потертой спиной монитор и серый коробок компьютера. На письменном же столе у Глухова ничего не стояло и не лежало — только телефон да фотография Веры в простой деревянной рамке.

— Пустовато у вас, товарищ подполковник, — произнес Джангир Суладзе, сверкнув на стол огненными черными очами.

Глухов согласно кивнул.

— Пустовато. Но ты, во-первых, зови меня Яном Глебовичем, а во-вторых, не думай, что множество бумаг способствует движениям в делах. Знаешь, когда Черчилль пришел к власти и занял кабинет предшественника, его поразили бумажные горы на столе, в шкафах и на диване. Если все читать, не будет времени решать и думать — так он сказал и распихал бумаги другим министрам и помощникам. Стол его был чист. Он знал, как заставить работать подчиненных.

⁷ «Олимпия» — пишущая электромеханическая машинка стационарного базирования. В настоящее время — музейный экспонат (примечание автора).

— А много ли подчиненных у вас, Ян Глебович? — с интересом спросил Суладзе, играя блестящей пуговицей мундира.

— Немного, — со вздохом признался Глухов, накрыв ладонью папку. — По этому делу — ты один.

По другим делам было не меньше, но и не больше, так как бригада «Прим» петербургского УГРО не отличалась многочисленностью. За стенкой с пейзажем, в самой просторной комнате, которую прозвали «майорской», сидел Гриша Долохов с Линдой Красавиной; за ними, в двухместных клетушках, располагалась бригадная боевая сила рангом помельче, зато ногами побыстрее — Верницкий, Голосюк и Караганов с тремя лейтенантами-практикантами. Напротив был кабинет Олейника, такой же маленький, как глуховский, и еще одна комнатка побольше, которую занимала Надежда Максимовна — бессменный секретарь и делопроизводитель. С ней у Глухова были сложные и деликатные отношения, особенно после смерти Веры.

Он покосился на Суладзе, но тот сидел с мечтательным лицом — видно, размышлял, как очистит стол по принципу Черчилля, выйдя в генералы. Придвинув к себе его рапорт, Глухов кашлянул и, вспоминая, принялся водить пальцем по строчкам.

— Хорошо пишешь, Джангир, красиво, но лучше бы без излишеств... Значит, так: обыск ты произвел, замки проверил, с Мироновым и Орловой побеседовал... А с участковым? Что участковый о нашей генеральше говорит? И в жилконторе? В жилконторе был? Что там?

— А ничего, Ян Глебович. Сказали, что за квартиру, свет и воду платила исправно, соседей не затапливала, не шумела и не устраивала пьянок. А участковый... Участковый там крутой. К вам мечтает перевестись, в УГРО, и потому сосредоточен на грабежах и кражах. В помощи не отказал, но ничего интересного не выяснил. Ему не до бабулек-генеральш.

— Раз так, мы его не возьмем, — пробормотал Глухов, внимательно перечитывая абзацы, где говорилось об обыске. — К бабулькам надо уважение проявлять... эпоха у нас такая, когда бабульки в цене... сегодня она бабулька, а завтра — премьер-министр или там госсекретарь... мигнет, и бомбы посыплются... или соберет внучат под красным флагом — да в Сербию... — Он оторвался от рапорта и спросил:

— Была у нашей покойницы телефонная книжка? Письма, открытки, дневник? Рецепты там кулинарные, список продуктов, любые записи? Знаешь, старики на память не надеются, записывают то да се... Что нашел?

— Писем она не хранила, а может, не получала, и дневников не вела, — доложил Суладзе. — Книжка с телефонами имеется, могу представить. Но номеров в ней не густо. Московские подруги юных лет, и почти при каждой — дата. Я обзванивал — умерли. Еще телефон Орловой, райсобеса, поликлиники, жилконторы... ну, и так далее. Оздоровительный центр «Диана», электрик, водопроводчик, нотариус...

— Нотариус... Тот, который сделку с квартирой оформлял?

— Он самый. То есть, она самая. Красивая женщина, — признался капитан и покраснел.

— Значит, и с ней была беседа, — произнес Глухов. — Молодец! Обстоятельный ты мужик, Джангир, серьезный! И чем эта Орлова недовольна, все жалобы пишет... — он небрежно пошевелил папку. — Ну, раз ты добрался до красотки-нотариуса, то уж у Миронова наверняка побывал? На прежней квартире генеральши?

— Само собой, Ян Глебович. Хоть не очень приглашали, но настоял и побывал.

— И какие впечатления?

— Смутные. Конечно, Миронов не шесть тонн генеральше доплатил: у него была квартира трехкомнатная, но шестьдесят пять метров и на Северном, а она отдала тоже трехкомнатную, но метраж — восемьдесят два, в старом фонде, на

Суворовском. Семнадцать метров разницы плюс центр... Можно двенадцать тысяч получить, можно — двадцать... И потратить их можно. Дать, к примеру, займы.

— Орлова об этом бы знала, — возразил Глухов и снова уставился в рапорт. — Квартира покойной — на третьем этаже... Вот здесь ты написал: опрошены ближайшие соседи... Надо думать, сверху, снизу и на лестничной площадке... А на девятый этаж ты поднимался? Или на двенадцатый?

Темные глаза Джангира затуманились, он грустно вздохнул и признался, что этот труд переложил на плечи участкового.

— Давай-ка сам сходи, — распорядился Глухов. — Дом точечный, один подъезд, девяносто пять квартир, не считая генеральской... Вот в каждую и загляни, побеседуй. О результатах доложишь послезавтра.

Суладзе откозырял и ушел, а Ян Глебович направился в «майорскую» и просидел там до вечера с Линдой Красавиной. Линда, темноволосая стройная брюнетка, перевелась к «глухарям» года два назад, из налоговой полиции, что было, по мнению Глухова, весьма полезно и своевременно. Она разбиралась в компьютерах, имела экономический диплом, а главное, была настоящим бухгалтерским ассом. Эти сухие науки ей, впрочем,

не вредили; нрав у Линды оказался спокойный и доброжелательный, а внешность и туалеты — выше всяких похвал. Ян Глебович ее немного дичился — чем-то она напоминала Веру, его покойную жену.

Но дело — прежде всего. А дело, которым она занималась с Глуховым, требовало самой высокой квалификации в сфере финансов, договоров и зарубежных поставок. С месяц назад, на бывшей купчинской свалке, где нынче строились гаражи, откопали покойника с перерезанным горлом и изуродованными кистями. Зарыли его глубоко и давно, так что одежда истлела, а труп наполовину разложился; документов при нем, естественно, не нашлось, а был только перстень на среднем пальце левой руки — верней, на том, что от пальца осталось. Серебряный перстень, который убийцы либо сочли нестоящей добычей, либо побрезговали — его покрывала кровь от перерубленных пальцев.

По этому перстню Глухов определил личность убитого — после немалых трудов, звонков, экспертиз и утомительной беготни по ювелирным мастерским. Как выяснилось, звали его Саркисов, был он фармакологом, в прошлом — доцентом из Химико-фармацевтического, ударившимся в коммерцию. Нажил кое-какие деньги и собирался открыть при мясокомбинате цех по выпуску лекарств, да вдруг исчез — в тот самый день, когда

готовились монтировать оборудование. Было оно уникальным, отечественным, приобретенным в Красноярске, но, после гибели Саркисова, затея его пошла прахом, установку кто-то у вдовы покойного перекупил, а лекарства, противоаллергенные препараты, зиртек и кларитин, телфаст и фенкарол, по-прежнему ввозились из-за границы. Глухов, ухватившись за факт продажи оборудования, исследовал с Линдой цепочку фирм, липовых или уже не существующих, передававших друг другу ящики с аппаратурой, перевозивших их с места на место, отыскал нынешнего владельца и поразился: «Аюдаг», завод шампанских вин, никак не связанный с фармакологией и разложившимися трупами. Собственно, и установки на «Аюдаге» не нашлось, где-то она застряла в процессе многократных перевозок — возможно, там, где предприимчивым конкурентам резали пальцы и глотки.

Чтоб выяснить это, пришлось идти окольными путями, просеивать компании и фирмы, торговцев и чиновников, снабжавших Петербург лекарствами; нередко — с выгодой для своего кармана, ибо там, на Западе, тоже существовала конкуренция, и что у кого покупать и за какую цену, являлось предметом яростных споров. В таких делах помощь Красавиной и грамотного медицинского эксперта

была совершенно необходимой, и Глухов ею не пренебрег. В своих расследованиях он не пренебрегал ничем, ни обстоятельствами, ни деталями; тем более — полезными людьми.

Когда посиделки с Линдой уже подходили к концу, в «майорскую» заглянул Олейник.

— Чайком не угостите, сыскари? Покрепче и послаще... Я, доложу вам, взмок, поскольку от начальства. Литр жидкости потерял, надо бы возместить.

Он промакнул платком вспотевший лоб. Линда, улыбнувшись, поднялась, включила чайник и показала глазами на полотенце у раковины.

— Умойся, Игорь. Что-то ты очень взъерошенный... Пот ручьями, и усы обвисли... Никак шею мылили? А за что?

Олейник неопределенно пожал плечами.

— Пока не мылили, но намекали... на вас намекали, Ян Глебович, и на ваше фармацевтическое дело. А намеки такие: есть у Глухова труп со свалки, пусть трупом да свалкой и занимается, а к важным людям не лезет. Беспокоятся эти люди, жалуются, звонят...

— Это кто ж такие? — Глухов прищурил глаз.

— Надо полагать, из мэрии. Или из медицинского департамента. Должностей и фамилий мне не назвали. Но общая установка ясна: рук не выкручивать, ногти не рвать, и не тушить на

фигурантах сигареты.

— Олейник помолчал, пощипывая светлый ус, и вдруг почти виновато добавил: — Вы с ними поделикатней, Ян Глебович... Люди и правда важные, хлопот не оберешься.

— Ты меня знаешь, Игорь, я рук не выкручиваю, — отозвался Глебов. — Но ты и другое знаешь: нераскрытых дел за мною не водится.

— Знаю. Потому и беспокоюсь, — сказал Олейник, направляясь к раковине.

Глухов был сыщиком от бога, и нераскрытых дел за ним и правда не водилось — по крайней мере, последние лет двадцать. Олейник об этом знал, знали в управлении и, вероятно, в более высоких сферах, что привело к двойному результату: во-первых, Глухов прочно сидел в подполковниках, а во-вторых, дела определенного свойства ему не поручались. Скажем, убийство депутата Старовойтовой... Вдруг раскроет? Вдруг найдет убийц, а к тому же — что было б не в пример опасней — их вдохновителей?

Глухов с такой ситуацией смирился. Не то чтоб она совсем его не волновала, но здравый смысл был сильнее эмоций, и он с неотвратимостью подсказывал, что всех преступников не переловишь — тем паче, что иных не собираются ловить. В этом даже усматривалась

какая-то справедливость, не касавшаяся, само собой, убийц Галины Александровны; но будь у Глухова воля и власть, он бы и сам не всех ловил, а сделал бы исключение — к примеру, для отстрельщиков, специалистов по преступным авторитетам и проворовавшимся банкирам. Они, конечно, нарушили Закон, но все же были достойны снисхождения, ибо существовала разница между Законом и Справедливостью; Закон был придуман людьми и потому несовершенен, а Справедливость, в понятиях Глухова, была категорией императивной, нравственным велением, присущим разуму и независящим ни от политики, ни от иных сиюминутных обстоятельств. Это являлось чистой воды кантианством, но Глухов был в убеждениях тверд, и потому сидел в подполковниках.

Они напились чаю. Линда, отвернувшись к зеркалу, мазнула по губам помадой и начала споласкивать кружки. Олейник, скосив на нее глаза, понизил голос и промолвил:

— Звонили мне от Кулагина, из Северного РУВД, дело нам передают. Что-то об ограблении, но с сомнительным оттенком. На вас ссылались, Ян Глебович. Я не отказал.

Это было разрешение, высказанное в самой тактичной форме — все-таки Глухов являлся теперь подчиненным, а бывший его ученик —

начальником. В нехитрой игре, которую они вели друг с другом на протяжении трех последних лет, существовали определенные правила, согласно которым Глухову все дозволялось, но он был обязан не подводить начальство или хотя бы информировать и держать его в курсе. Сотрудники знали про этот неписанный уговор; знала и Линда, а потому не прислушивалась и с кружками не торопилась.

Глухов в нескольких словах рассказал о происшедшем, затем добавил, что криминалов, возможно, и не было, а только попался настырный жалобщик. Это Олейнику не понравилось; потерев бив усы, он высказался в том смысле, что одна настырная женщина может загнать трех милицейских подполковников. Это верно, согласился Глухов, но для конкретных дел есть у него капитан, красивый, щеголеватый, а главное — усердный. Вот он-то пусть и бегаёт.

— Такой черноглазый, в наглаженном мундире? — спросил Олейник. — Я ему сопроводительную подписывал. Суладзе, кажется? Грузин? А не похож!

— Сын пастуха и свинарки, — откликнулся Глухов, но его начальник шутку не понял, ибо, за

младостью лет, картины такой не смотрел⁸. Ян Глебович уже собирался его просветить, но тут дверь распахнулась, Валя Караганов просунул в «майорскую» голову, сделал страшные глаза и завопил:

— Линда! Игорь Корнилович, Ян Глебович! У Вадика, практиканта нашего, именины! Он торт припер, вот такой, с колесо от «жигуленка»! А мы и позабыли!

— Это в ы позабыли, — промолвила Линда, неодобрительно сморщив носик. — А профсоюз, Валечка, не забывает ничего. У профсоюза есть компьютер, а в нем — все дни рождений. Даже твой. — С этими словами она достала из тумбочки пакет, заклеенный скотчем, и пять гвоздик в стеклянной вазе. — Ну, зови именика. Тортик-то в дверь пролезет?

— Если не пролезет, оприходуем в коридоре, — с нахальной усмешкой сообщил Караганов и исчез.

Линда принялась неторопливо расставлять

⁸ Речь идет о старом фильме «Свинарка и пастух», в котором повествуется о временах братства советских народов и о любви кавказского пастуха к русской девушке-свинарке. Впрочем, такие случаи бывают и сейчас; любви все нации покорны (примечание автора).

кружки. Ей было тридцать семь, но девичьей стройности она не потеряла и двигалась легко и грациозно, как балерина. Словно танцует, подумалось Глухову.

Заметив, что на нее глядят, Красавина улыбнулась, поправила темный локон и приказала:

— Шли бы вы за посудой, подполковники. У меня на всех не хватит. И не забудьте Надежду Максимовну позвать.

У порога Глухов обернулся. Линда все еще улыбалась, глядя на него, и приглаживала волосы таким знакомым, но почти забытым жестом.

Где он его видел? Кажется, у Веры...

* * *

Джангир Суладзе явился утром, в приподнятом настроении, принес телефонную книжку генеральши и доложил, что некая бабушка Марья Антоновна с пятого этажа бывала у покойной и видела там какого-то доктора. Бывала — сильно сказано; ее впустили лишь однажды и по серьезному поводу — вызвать неотложку, когда с супругом Марьи Антоновны, сердечником и гипертоником, случился приступ. Телефон у нее имелся, но что-то с ним сотворилось под Новый Год, как и у многих других соседей; что-то чинили

на телефонной станции, однако до праздника не дочинили, и Марья Антоновна, сунувшись безрезультатно туда-сюда, в панике заметалась меж этажами. Потом случайно ткнулась к генеральше — у той телефон каким-то чудом работал, она позвонила и вызвала скорую.

Но до того, по словам Марьи Антоновны, случился странный эпизод. Вошла она в квартиру генеральши, а там — молодой человек при белом халате и саквояжике; взгляд — строгий, брови насуплены, в лице — серьезность, так что по виду — вылитый доктор. Марья Антоновна — к нему, как к ангелу небесному: спаси, родимый, старика, старик лежит без памяти и еле дышит, не отпоить мне его микстурами, укольчик бы надо... А молодой человек насупился еще сильнее и что-то невнятное пробормотал — вроде не тот он доктор, не по сердечным делам, и никаких уколов не делает. А генеральша тем временем звонила в неотложку и дозвонилась, так что Марья Антоновна, перекрестившись и воспрянув духом, отстала от мнимого доктора.

Выслушав этот рассказ, переданный Джангиром со всеми деталями и близко к тексту, Глухов подумал, что надо бы Марью Антоновну навестить. А заодно и с Орловой познакомиться, да и с ее супругом. Из всех оперативно-следственных

мероприятий он больше всего полагался на разговоры с людьми; люди, конечно, были существами забывчивыми, скрытными, подчас иррациональными, а иногда и лживыми, но все же, в отличие от неодушевленной материи, они обладали речью и мимикой, а также совестью и здравым смыслом, что было еще важнее. Люди для Глухова были намного интересней вещей, тех молчаливых предметов, что именуются вещественными доказательствами. Он умел разговаривать с людьми и знал, как доискаться истины, не обманувшись ложью.

Отправив Суладзе в поликлинику Нины Артемьевны — на поиски «не того доктора», Глухов отыскал в телефонной книжке номер Орловой и позвонил. Она была еще дома, и Ян Глебович договорился встретиться с ней и с мужем ее Антоном в квартире покойной, ровно в восемь вечера. Заодно он представился и сообщил, что дело передано из Северного РУВД на Литейный четыре, в оперативно-следственный отдел уголовного розыска. Орлова, кажется, осталась довольной.

В тот день у Глухова стояли в плане два визита, на фабрику лекарственных средств и в Химико-фармацевтический институт, к персонам такого ранга, которых он предпочитал не вызывать к себе; к тому же в привычной обстановке беседы

проходили откровенней, да и сама обстановка могла кое-что подсказать. Он собрался, спустился вниз, в вычислительный центр, вручил одной из девушек, самой усердной и надежной, шоколадку, и попросил отыскать все зафиксированные случаи внезапной смерти стариков за три последних года. При тех условиях, что старики одиноки, жили в отдельных квартирах и в них же умерли. Потом уселся в машину, в синий служебный «жигуленок», и поехал на фабрику.

С фабрикой и институтом он разобрался часам к шести — только-только, чтобы успеть перекусить и домчаться с Петроградской на окраину. Дом, в котором закончилась жизнь Нины Артемьевны Макштас, стоял на углу Северного и Гражданского проспектов. Двенадцатиэтажная башня из серого кирпича, с закругленными обводами, лоджиями и высоким крылечком с кирпичными колоннами, что поддерживали выступавший козырек. Совсем неплохой дом, гораздо престижнее, чем тянувшиеся по обе стороны панельные девятиэтажки. Глухов подъехал к нему в семь вечера, вылез из машины и поднялся на пятый этаж.

Открыла ему сухонькая старушка в очках, лет под восемьдесят, но удивительно шустрая и живая. Глухов предъявил документы, старушка изучила их из-под очков и, признав в визитере мужчину

солидного, в чинах, провела на кухню и пустилась в воспоминания. Ян Глебович ей не мешал, дождался, когда получасовой монолог закончится и только после этого стал задавать вопросы. Выяснилось, что «не тот доктор» светловолос, широкоплеч и ростом не обижен; что нос у него не длинный и не короткий, губы тонковатые, щеки впалые, стрижка — короткая, и на вид ему не больше тридцати пяти. Насчет глаз старушка сомневалась — то ли серые, то ли зеленые или голубые, но точно не черные и не карие.

Кивая в такт речам Марьи Антоновны, Глухов чиркал карандашом в блокноте, но не записывал, а рисовал — профиль, фас и снова профиль, пять или шесть набросков, все — небольшие, чтоб поместились на одном листе. Пока он не выслушал ничего такого, о чем бы не рассказывал Суладзе — плюс всю старушкину родословную, а также диагнозы болезней, какими страдала она сама и ее супруг-сердечник, дремавший сейчас на диванчике в комнате. Марья Антоновна принадлежала к тем женщинам, перед которыми лучше ставить конкретные вопросы; в иной ситуации имелся риск попасть в водоворот воспоминаний, без всякой надежды прибиться к твердой почве, где произрастают даты, факты, имена и адреса.

Глухов повернул блокнот к старушке, и та восхищенно всплеснула руками.

— Да ты, родимый, никак художник? А говорил — милиционер! Разве ж у вас в милиции рисуют?

— Теперь не рисуют, — со вздохом признался Глухов. — Теперь у нас компьютер есть. Сядешь перед ним и приставляешь губы к носу, и уши к голове. Пока что-нибудь похожее не получится... А у меня как вышло?

— Вот энтот вроде бы похож, — Марья Антоновна ткнула сухим пальчиком в один из рисунков. — Губки, однако, поуже, бровки погуще, а подбородок сапожком.

Глухов исправил рисунок, заметил, что в нем появилось что-то волчье, и спросил:

— А как вам показалось, Марья Антоновна, доктор этот был с генеральшей хорошо знаком?

— Не знаю, родимый, не ведаю. Покойница-то в прихожей была, там у нее телефон, а энтот в комнатке, значит, остался, у дверки, и зыркал так неприветливо, будто я ему чем помешала. Хмурый такой, сурьезный...

— При вас они о чем-нибудь говорили?

— Да нет, не припомню... Я ведь не в разуме была, дрожала да тряслась в коленках — шутка сказать, старик мой помирает, а телефоны-то все повыключены, трубки в автоматах пообрезаны, а соседей кого нет, а кто сам на ножках не стоит, от

старости иль по иным каким причинам — денек-то выдался субботний, аккурат второе января, сам понимаешь, что в этот день творится, у молодежи пьянка-гулянка, а ежели какой старик помрет, так что им, молодым?.. А ничего! Я уж, бабка старая, наладилась бобиком в больничку бежать на Вавиловых, больничка-то ближе поликлиники, а только пока добежишь, пока добьешься и докричишься, пока...

— Это верно, — с сочувствием согласился Глухов, — пока добежишь и докричишься, или бобику конец, или кричалка отсохнет. А вот не припомните, Марья Антоновна, был ли на этом сурьезном докторе какой-нибудь приметный знак? Может, родинка, татуировка, кольцо, сережка или значок на халате? Или жест особенный? Или в голосе что-то такое? Иные, перед тем, как сказать, хмыкнут или покашлиают, иные вовсе заикаются, иные слова тянут, будто нараспев... Такого не помните?

— Этот не заика и не перхун, без колечек и сережек, ручки и личико чистые, ничем не разукрашены, — уверенно ответила старушка.

— А вот как он ручками и личиком шевелит... Шевелит, да! Я к нему с просьбой, а он губки облизал — быстрым таким язычком, ровно как змеюка — под носом вытер, и говорит: не тот я

доктор, уколов не делаю! Какой же тогда доктор? Вот доктора с неотложки — те колют! У тех...

— Может, он был какой-то особенный доктор, психиатр или логопед, — предположил Глухов, чтобы сменить тему. — Те тоже уколов сердечникам не делают. А вот не страдал ли он насморком?

— Это как так, родимый? Прости бабку, не поняла.

— Вы сказали — губки облизал и под носом вытер. Значит, было что вытирать?

— Да нет же! Не чихал он и не сморкался, а пальчиком сделал — вот так, на манер усов! — Марья Антоновна показала — как, приложив указательный палец к верхней губе.

Глухов поблагодарил и поднялся. Старушка засуетилась, вспомнила про чай, стала извиняться, что угостить, по пенсионной скудости, нечем, будто не милицейский подполковник к ней пожаловал, а гость дорогой. Ян Глебович эти хлопоты пресек со всей наивозможной мягкостью; было без трех минут восемь, а опаздывать он, как говорилось прежде, не любил.

В квартире покойной генеральши прием его ждал не столь радушный, зато подстерегала неожиданность: Антон Орлов, супруг Елены, оказался довольно высоким, хмурым, светловолосым и сероглазым, с короткой стрижкой

и узковатыми губами. Правда, губы он не облизывал и не прикладывал палец под нос, но во всем остальном был сильно похож на вероятного фигуранта. Кроме того, и профессии у них совпадали, поскольку Орлов являлся зубным врачом, что несомненно входило в категорию «не тот доктор».

Отметив, что надо предъявить эту личность старушке с пятого этажа, Глухов завел неторопливый разговор, расспрашивая про подруг покойной, про врачей и работников соцстраха, которые могли бы Нину Артемьевну навещать, про соседей, про бывших сослуживцев генерала и даже про местных водопроводчиков и электриков. Это называлось «поговорить о королях и капусте», так как ответы Орловой его не слишком интересовали; другое дело — она сама. Она и ее супруг, светловолосый, хмурый и сероглазый.

Какие они? Честные люди? Или способные на преступление? На ложь, на глупый розыгрыш? Кем-то обиженные и мстящие за ту обиду? Или попросту склочные? И как обстоят дела между ними? Довольны ли они друг другом или готовы разбежаться? Прочен ли их брак? Антон Орлов — что он собой представляет? Какой он муж? Заботливый глава семейства или потаскун и алкоголик? Что связывает с ним Елену — не в прошлом, а сейчас? Искреннее чувство? Привычка?